


Похититель теней-Марк Леви

Марк Леви



Похититель
теней

Издательство «Иностранка»

Марк Леви

Похититель теней

Тот, кто тень поймать хотел, Счастья тень — того удел.

Вильям Шекспир[1]

В любви, знаешь ли, самое главное — воображение. Нужно, чтобы каждый придумывал другого со всю силой своего воображения, не уступая реальности ни пяди; и вот тогда, когда два воображения встречаются... нет ничего прекраснее.

Ромен Гари. Чародеи

Я боялся темноты, боялся силуэтов, которые колыхались в сгущающихся тенях, танцевали в складках гардин, на обоях спальни. Прошло время, они исчезли. Но мне достаточно вспомнить детство, и я снова вижу их, страшные, угрожающие.

Китайская пословица говорит, что воспитанный человек не наступит на тень своего соседа. Я не знал этого в тот день, когда пришел в новую школу. Мое детство жило там, в школьном дворе. Я гнал его прочь, хотел скорее стать взрослым, а оно крепко держало меня в этом тесном теле, слишком, на мой взгляд, маленьком.

* * *

«Все будет хорошо, вот увидишь...»

Первый день занятий. Я стоял, прислонившись к платану, и смотрел, как образуются группы. Ни к одной из них я не принадлежал. Для меня ни у кого не нашлось ни улыбки, ни дружеского похлопывания по плечу, ни единого знака радости от встречи после каникул, и рассказать было некому, как я их провел. Тем, кого переводили в другую школу, знакомо такое сентябрьское утро, когда силишься проглотить комок в горле и не знаешь, что ответить родителям на их «все будет хорошо». Как будто они что-нибудь помнят! Родители всё забыли, это не их вина, просто они состарились.

На галерее под навесом зазвенел звонок, ученики побежали строиться, учителя начали перекличку. Нас было трое очкариков — немного. Я попал в класс шестой «С» и, как всегда, оказался самым маленьким. Надо же было додуматься родить меня в декабре! Папа и мама радовались, что я на полгода опережаю всех, для меня же начало каждого учебного года превращалось в пытку.

Быть самым маленьким в классе — это значит: вытирать доску, приносить мел, убирать маты в спортивном зале, складывать баскетбольные мячи в ряд на слишком высокую полку и, что всего хуже, на классных фотографиях сидеть одному в первом ряду по-турецки. Нет пределов унижению, когда учишься в школе.

Все это можно было бы пережить, но в шестом «С» был ученик по фамилии Маркес, гроза класса и полная противоположность мне.

Если я пошел в школу с опережением — к великой радости моих родителей, — то Маркес на два года отставал, а его родителям было на это плевать. Сын в школе чем-то занят, обедает в столовой, приходит под вечер, ну и слава богу.

Я носил очки, у Маркеса глаза были как у рыси. Я был на десять сантиметров ниже всех своих ровесников, Маркес на десять выше — понятно, какова была разница в росте между ним и мной; я ненавидел баскетбол, Маркесу же достаточно было чуть потянуться, чтобы положить мяч в корзину; я любил поэзию, он — спорт, не сказать, что это вещи несовместимые, но все же; я любил наблюдать за кузнечиками на стволах деревьев, а Маркес обожал их ловить и отрывать им крылышки.

Но были у нас две точки соприкосновения, а вообще-то скорее одна — Элизабет. Мы оба были в нее влюблены, а Элизабет ни меня, ни его в упор не замечала. Это могло бы сблизить нас с Маркесом, но дух соперничества оказался сильнее.

Элизабет не была самой красивой девочкой в школе, но далеко превосходила всех очарованием. Она по-особому завязывала волосы в хвост, движения ее были просты и грациозны, а ее улыбки хватало, чтобы

озарить самые унылые осенние дни, когда дождь льет без продыху, ботинки хлюпают на мокром тротуаре и уличные фонари освещают темноту по дороге в школу и из школы, что утром, что вечером.

Мое детство жило там, бедное мое детство, в этом маленьком провинциальном городке, где я отчаянно и безнадежно ждал хотя бы взгляда от Элизабет, где я отчаянно и безнадежно ждал, когда же наконец вырасту.

Часть I

1

Одного дня хватило, чтобы Маркес меня невзлюбил. Одного-единственного дня, чтобы я совершил непоправимое. Наша учительница английского мадам Шеффер объясняла нам, что простой претерит обозначает действие давно прошедшее и не имеющее связи с настоящим, непродолжительное и легко привязываемое ко времени. Хорошенькое дело!

Закончив, мадам Шеффер указала пальцем на меня и попросила проиллюстрировать ее объяснение примером по моему выбору. Когда я сказал, что было бы здорово, будь учебный год в претерите, Элизабет звонко засмеялась. Моя шутка развеселила только нас с ней, из чего я заключил, что остальные одноклассники не поняли, что такое претерит в английском языке, Маркес же сделал другой вывод — что я обскакал его перед Элизабет. На всю оставшуюся четверть участь моя была решена. Начиная с этого понедельника, первого дня учебного года, а точнее с урока английского, мне предстояло жить в аду.

Я тотчас же схлопотал от мадам Шеффер наказание: в ближайшую субботу три часа убирать опавшие листья во дворе. Ненавижу осень!

Во вторник и в среду Маркес то и дело ставил мне подножки. Каждый раз, когда я растягивался на полу, упомянутый Маркес наверстывал отставание в гонке за право больше всех смешить окружающих. Он даже вырвался на корпус вперед, но Элизабет не смеялась, и его жажда мести не была утолена.

В четверг Маркес прибавил обороты, и я перед уроком математики оказался заперт в своем шкафчике, куда он затолкал меня силой. Я сообщил код замка сторожу, который подметал раздевалку и услышал, как я барабаню в дверь. Чтобы не навлечь на себя еще большие неприятности, прослыв ябедой, я клятвенно заверил, что заперся сам, мол, играл в прятки. Сторож с любопытством спросил, как я ухитрился запереть замок изнутри, но я, сделав вид, будто не услышал вопроса, задал стрекача. На переключку я опоздал. Учитель математики продлил мое субботнее наказание еще на час.

Пятница была худшим днем за всю неделю. Маркес решил испытать на мне принципы закона Ньютона, который мы учили на уроке физики в 11 часов.

Закон всемирного тяготения, открытый Исааком Ньютоном, гласит, что два тела притягиваются с силой, прямо пропорциональной их массе и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Направление этой силы проходит по прямой через центры тяжести обоих тел.

Вот что, в общих чертах, можно прочесть в учебнике. На практике же — совсем другое дело. Представьте себе, что некто стащил в столовой помидор, но без намерения его съесть, а с иной целью; дождитесь, когда его жертва окажется на достаточно близком расстоянии, чтобы он сообщил упомянутому помидору силу своей правой руки, и вы увидите, что с Маркесом закон Ньютона не срабатывает. Направление помидора отклонилось от прямой, проходящей через мой центр тяжести: он приземлился прямо мне на очки. И среди общего хохота в столовой я расслышал смех Элизабет, такой звонкий и серебристый, что настроение у меня испортилось окончательно.

В эту пятницу вечером, дома, пока мама повторяла многозначительным тоном, что она всегда права — «Вот видишь, все хорошо», — я положил на стол дневник с запиской о наказании, сказал, что ужинать не хочу, и ушел в свою комнату.

В субботу утром, когда мои одноклассники завтракали перед телевизором, я отправился в школу.

Сторож сложил записку, должным образом подписанную родителями, и спрятал ее в карман своего серого халата. Он выдал мне вилы — «Только осторожней, не поранься», — и показал на кучу листьев и тачку, стоявшую под баскетбольной корзиной, которая вылупилась на меня, как глаз Каина или, вернее сказать, Маркеса.

Я сражался с кучей сухих листьев уже добрых полчаса, когда сторож наконец пришел мне на помощь.

— А ведь я тебя узнал, это ты заперся в шкафчике, верно? — сказал он и взял у меня из рук вилы. — Получить наказание в первую субботу учебного года — это надо ухитриться, почти как запереть замок изнутри.

Он уверенным движением всадил вилы в кучу и сразу подцепил больше листьев, чем я сумел перетаскать за полчаса работы.

— Что же ты натворил, за что тебя наказали-то? — спросил он, наполняя тачку.

— За ошибку в спряжении, — буркнул я.

— Ммм, не мне тебя осуждать, я сам никогда не был силен в грамматике. Но уборка листьев, кажется, тоже не твое. А что-нибудь ты умеешь делать хорошо?

Его вопрос поверг меня в глубокую задумчивость. Сколько я ни ломал голову, так и не нашел у себя ни единого таланта. Тут я понял, почему для моих родителей были так важны пресловутые шесть месяцев опережения: больше ничего мне не было дано, чтобы они могли гордиться своим отпрыском.

— Должно же быть что-то, что тебе интересно, что ты больше всего любишь делать, мечта, в конце концов? — добавил он, подцепив новую охапку листьев.

— Приручить темноту, — тихо вымолвил я.

Смеялся Ив — так звали сторожа — очень громко, даже два воробья вспорхнули с ветки и улетели. Я же, засунув руки в карманы, понуро поплелся на другой конец двора. Ив нагнал меня на полдороге.

— Я и не думал над тобой смеяться, просто ответ уж очень неожиданный, вот и все.

Тень от баскетбольной корзины вытянулась поперек двора. Солнцу еще далеко было до зенита, а моему наказанию — до конца.

— А почему ты хочешь приручить темноту? Странная все-таки идея!

— Вы ведь тоже, когда вам было столько лет, сколько мне, боялись ее. Вы даже просили закрывать ставни в вашей комнате, чтобы не впускать темноту.

Ив ошеломленно посмотрел на меня. Он переменялся в лице, приветливое выражение вмиг исчезло.

— Во-первых, это неправда, а во вторых, ты-то откуда знаешь?

— Если это неправда, то какая вам разница? — бросил я в ответ и зашагал дальше.

— Двор невелик, далеко ты не уйдешь, — сказал Ив, нагоняя меня, — и ты не ответил на мой вопрос.

— Знаю, вот и все.

— Ладно, это правда, я очень боялся темноты, но я никому об этом не рассказывал. Слушай, если скажешь мне, как ты это узнал, и пообещаешь хранить секрет, я отпущу тебя не в полдень, а в одиннадцать.

— По рукам, — согласился я и протянул ему ладонь.

Ив хлопнул меня по руке и пристально посмотрел в глаза. Откуда же я узнал, что сторож так боялся темноты, когда был маленьким? Я сам понятия не имел. Может быть, я просто перенес на него мои

собственные страхи. Почему взрослым на все нужно объяснение?

— Давай-ка сядем, — распорядился Ив, кивнув на скамейку у баскетбольной корзины.

— Лучше не здесь, — ответил я и показал на другую скамейку, напротив.

— Ладно, идем.

Как я мог ему это объяснить? Только что, когда мы стояли рядом посреди двора, он показался мне ненамного меня старше. Я не знал, как это произошло и почему, знал только, что в его комнате были пожелтевшие обои, а полы в доме, где он жил, скрипели, и этого он тоже ужасно боялся по ночам.

— Я не знаю, — сказал я испуганно, — наверно, я это выдумал.

Довольно долго мы сидели на скамейке и молчали. Потом Ив вздохнул и, похлопав меня по колену, встал.

— Ну все, беги домой, уговор дороже денег, уже одиннадцать. Только молчок, я не хочу, чтобы ученики надо мной смеялись.

Я попрощался со сторожем и пошел домой на час раньше, представляя, как меня встретит папа. Накануне он поздно вернулся из командировки, и сейчас мама, наверно, уже объяснила ему, почему меня нет дома. Какая кара ждет меня за то, что я был наказан в первую же неделю учебного года? Так я шел, прокручивая в голове эти мрачные мысли, и вдруг заметил нечто удивительное. Солнце стояло уже высоко, и моя тень была какой-то странной, куда длиннее и шире обычного. Я остановился, чтобы рассмотреть ее получше: формы тоже не совпадали, будто бы не моя тень скользила передо мной по тротуару, а чья-то чужая. Я вгляделся в нее — и вдруг снова увидел кусочек детства, не принадлежавшего мне.

Какой-то человек тащил меня в глубь незнакомого мне сада, снимал ремень и задавал мне серьезную порку.

Мой отец даже в гневе никогда не поднимал на меня руку. И я, кажется, понял, из чьей памяти всплыла эта картина. То, что пришло мне в голову, было совершенно невероятно, чтобы не сказать — невозможно. Я прибавил шагу, умирая от страха, но твердо решив вернуться поскорее.

Отец ждал в кухне; услышав, как я кладу ранец в гостиной, он позвал меня; голос у него был строгий.

За плохие отметки, беспорядок в комнате, сломанные игрушки, ночные вылазки к холодильнику, позднее чтение с карманным фонариком, мамин маленький радиоприемник, спрятанный под подушкой, не говоря уж о том случае, когда я набил карманы конфетами в супермаркете (мама отвернулась, зато охранник не дремал) я не раз за свою жизнь навлекал на себя грозы отцовского гнева. Но у меня имелись в запасе кое-какие хитрости, в том числе неотразимо виноватая улыбка, способная утихомирить самую яростную бурю.

На этот раз прибегать к ней мне не пришлось: папа не выглядел рассерженным, только грустным. Он попросил меня сесть напротив него за кухонный стол и взял мои руки в свои. Наш разговор продолжался минут десять, не больше. Он объяснил мне много всего про жизнь, разные вещи, которые я пойму позже, когда вырасту. Я запомнил только одно: он уходит из дома. Мы будем видеться по возможности часто, вот только он не смог сказать мне, что подразумевает под этой «возможностью».

Папа встал из-за стола и попросил меня пойти поддержать маму — она в своей комнате. До этого разговора он сказал бы «в нашей комнате», теперь же она стала только маминкой.

Я послушно отправился наверх. На последней ступеньке оглянулся — папа стоял с маленьким чемоданчиком в руке. Он прощально помахал мне рукой, и входная дверь захлопнулась за ним.

Отца я больше не видел — мы встретились, только когда я стал взрослым.

* * *

Выходные я провел с мамой, делая вид, будто не замечаю ее горя. Мама ничего не говорила, только иногда вздыхала, и глаза ее тут же наполнялись слезами, которые она прятала от меня, отворачиваясь.

После обеда мы отправились в супермаркет. Я давно заметил: когда маме становилось особенно грустно, мы шли за покупками. Я никогда не понимал, как пакет крупы, свежие овощи или новые колготки могли

поднять настроение... Я смотрел на нее, суетившуюся у полок, сомневаясь, помнит ли она, что я рядом. С полной тележкой и пустым кошельком мы вернулись домой, и мама бесконечно долго убирала купленные продукты.

В тот день мама испекла пирог, яблочный с кленовым сиропом. Она поставила на кухонный стол два прибора, снесла папин стул в подвал и, вернувшись, села напротив меня. Из ящика стола у газовой плиты она достала упаковку свечей, тех самых, что я задул на своем дне рождения, воткнула одну в середину пирога и зажгла.

— Мы с тобой в первый раз ужинаем вдвоем, как влюбленные, — сказала она мне, улыбаясь, — давай запомним этот вечер навсегда.

Помнится, много в моем детстве было первых разов.

Этот пирог с яблоками и кленовым сиропом был нашим ужином. Мама взяла мою руку и крепко сжала.

— Может, расскажешь, что у тебя не ладится в школе? — попросила она.

* * *

Мамино горе настолько занимало мои мысли, что я и забыл о своих субботних злоключениях. Вспомнил я о них по дороге в школу и понадеялся, что у Маркеса выходные прошли куда лучше, чем у меня. Как знать, может, если повезет, ему не понадобится больше козел отпущения.

Шестой «С» уже выстроился на галерее, и переключка вот-вот должна была начаться. Элизабет стояла передо мной, на ней был темно-синий свитерок и юбка в клетку до колен. Маркес обернулся и метнул на меня недобрый взгляд. Переключка кончилась, ученики гуськом зашагали в школу.

На уроке истории, пока мадам Анри рассказывала нам о смерти Тутанхамона, да так, словно сама была с ним рядом, я не без страха думал о перемене.

Звонок раздался ровно в 10:30; перспектива оказаться во дворе с Маркесом не сулила ничего хорошего, но хочешь не хочешь, пришлось идти со всеми.

Я сел в стороне, на скамейку, где разговаривал со сторожем в субботу, в тот самый день, когда, придя домой, узнал, что папа от нас уходит. Вдруг рядом со мной плюхнулся Маркес.

— Я с тебя глаз не спущу, — прошипел он, цепко ухватив меня за плечо. — Не вздумай выставить свою кандидатуру на выборы старосты класса. Я — старший, и этот пост мой. Если хочешь, чтобы я тебя не трогал, мой тебе совет: сиди тише воды ниже травы и смотри близко не подходи к Элизабет, тебе же лучше будет. Маленький ты еще, и не надейся попусту, зря будешь лезть из кожи, придурок.

Очень солнечно было в то утро на школьном дворе, я отлично это помню, и недаром! Наши тени вытянулись рядом на асфальте. Маркесова была на добрый метр длиннее моей — все дело в пропорциях, это математика. Я незаметно подвинулся, чтобы моя тень легла поверх его. Маркес ничего не замечал, а меня эта игра забавляла. Хоть раз я взял верх — мечтать не вредно. Маркес, по-прежнему терзая мое плечо, заметил Элизабет, которая прошла недалеко от нас под каштаном. Он встал и, шикнув, мол, сиди тихо, оставил меня наконец в покое.

Из сторожки, где хранился садовый инвентарь, вышел Ив. Он направился к скамейке, глядя на меня с таким серьезным видом, что впору было задуматься, не натворил ли я чего еще.

— Мне очень жаль, что так вышло с твоим отцом, — сказал он. — Знаешь, со временем все утрясется.

Откуда он узнал новость так скоро? Об уходе моего отца не писали в газетах.

Дело в том, что в маленьких провинциальных городках все всё про всех знают: ни одной сплетни не упустят люди, жадные до чужой беды. Когда я это осознал, уход отца снова, во второй раз, тяжким бременем навалился мне на плечи. Я был уверен, что сегодня же вечером об этом станут судачить во всех домах моих одноклассников. Одни возложат ответственность на маму, другие обвинят во всем отца. Но все сойдутся на том, что я никуда не годный сын, неспособный сделать отца достаточно счастливым, чтобы не дать ему уйти.

Решительно, год начинался плохо.

— Ты с ним ладил? — спросил Ив.

Я ответил кивком, уставившись на носки своих ботинок.

— Жизнь скверно устроена. Вот у меня отец был тот еще мерзавец. Мне так хотелось, чтобы он ушел из дому. Я сам ушел раньше него, чтобы не сказать — из-за него.

— Папа никогда не поднимал на меня руку! — поспешно ответил я во избежание недоразумений.

— Мой тоже, — сказал на это сторож.

— Если вы хотите, чтобы мы стали друзьями, давайте говорить друг другу правду. Я знаю, что ваш отец вас бил. Он тащил вас в глубь сада и там лупил ремнем.

Что я такое ляпнул? Я сам не знал, как эти слова сорвались у меня с языка. Наверно, мне было необходимо именно Иву сказать, что я видел в ту злополучную субботу, возвращаясь домой. Он посмотрел мне прямо в глаза.

— Кто тебе это рассказал?

— Никто, — сконфузился я.

— Или ты любитель вынюхивать, или врун.

— Ничего подобного! А вы? Кто вам рассказал про моего отца?

— Я как раз принес почту мадам директрисе, когда твоя мама ей позвонила. Директриса так расстроилась, что, повесив трубку, все повторяла вслух: «Какие мужчины мерзавцы, нет, ну какие же мерзавцы!» А когда сообразила, что я стою перед ней, извинилась. «Не вы, Ив, — сказала. И даже добавила: — Конечно не вы». Как же, думает-то она обо мне то же самое, она обо всех нас так думает; мы в ее глазах мерзавцы, малыш, просто потому, что мы — мужчины. Видел бы ты, как она переживала, когда школу сделали смешанной. Известное дело, мужчины изменяют женщинам, а спрашивается: с кем? С кем, как не с женщинами, которые тоже изменяют своим мужчинам? Я-то знаю, о чем говорю. И ты узнаешь, когда вырастешь.

Мне хотелось убедить Ива, что я не понимаю, о чем он, но я ведь сам сказал ему, что наша дружба не может строиться на лжи. Я понимал, отлично все понимал с того самого дня, когда мама нашла тюбик губной помады в кармане папиного пальто, а папа уверял, будто представления не имеет, как он туда попал, и клялся, что это глупая шутка коллег по работе. Папа и мама ссорились всю ночь, и я за один вечер узнал об изменах больше, чем из всех сериалов, которые мама смотрела по телевизору. Без экрана все даже куда подлиннее — когда драма разыгрывается в соседней комнате.

— Так я сказал тебе, откуда знаю про твоего отца, — продолжал Ив, — теперь твоя очередь.

Тут зазвонил звонок; Ив что-то недовольно пробурчал и велел мне бежать на уроки, добавив, правда, что разговор мы не закончили. Он направился в свою сторожку, а я в класс.

Я шел лицом к солнцу и вдруг оглянулся; тень, скользившая за мной, снова была маленькой, а тень, опережавшая сторожа, — гораздо больше. Хоть что-то в этот понедельник вошло в привычную колею, и меня это здорово успокоило. Видно, мама права: слишком богатое воображение порой играет со мной злые шутки.

* * *

На уроке английского я ничего не слушал. Во-первых, я еще не простил мадам Шеффер мое наказание, и потом, мне все равно было не до того. Зачем моя мама звонила директрисе и рассказывала про свою жизнь, про нашу жизнь? Задушевными подругами, насколько мне известно, они не были, и я находил подобные откровения крайне неуместными. Она хоть подумала, что будет со мной, когда узнают все? С Элизабет у меня не осталось никаких шансов. Даже если допустить, что ей нравятся мальчики маленького роста и в очках — предположение весьма оптимистичное, — или что ее может привлечь полная противоположность Маркесу, здоровенному самоуверенному дылде, разве можно мечтать о ком-то, чей отец ушел из дома по всем известным причинам, главная из которых — что его сын не стоил того, чтобы с ним остаться?

Я думал эти невеселые думы в столовой, на уроке географии, на третьей перемене и по дороге из школы. Подходя к дому, я был полон решимости втолковать маме, как круто она меня подставила. Но, поворачивая

ключ в замке, я подумал, что это значило бы предать Ива: мама завтра же позвонит директорисе, чтобы попенять ей, что та не сохранила секрет, а директорисе не понадобится далеко ходить, чтобы найти, откуда просочилась информация. Если я подведу сторожа, вряд ли наши приятельские отношения смогут когда-нибудь стать настоящей дружбой, а мне в этой новой школе больше всего не хватало друга. И пусть Ив на тридцать или сорок лет старше меня — мне это было все равно. Непостижимым образом украв у него тень, я понял, что он достоин доверия. Так что объяснение с мамой я решил отложить.

Мы поужинали перед телевизором, мама была не расположена поддерживать беседу. После ухода папы она вообще мало разговаривала, как будто ей стало трудно произносить слова.

Ложась спать, я вспомнил Ива, который сказал, что со временем все утрясется. Может быть, пройдет время и мама снова будет приходить и желать мне спокойной ночи, как раньше. В эту ночь не шелухнулись даже задернутые занавески на приоткрытых окнах, ничто не смело нарушить царившую в доме тишину, и ни единой тени не мелькнуло в складках ткани.

* * *

Кто-то может подумать, будто жизнь моя изменилась с уходом отца, но это не так. Папа часто возвращался с работы поздно, и я давно привык коротать вечера вдвоем с мамой. По нашим воскресным прогулкам на велосипедах я скучал, но быстро заменил их мультиками, которые мама разрешала мне смотреть, пока сама читала газету. Новая жизнь — новые привычки: мы делили гамбургер на двоих в ближайшем ресторанчике, а потом прогуливались по торговым улицам. Магазины были закрыты, но мама, кажется, не всегда это замечала.

В час полдника она неизменно предлагала мне пригласить в гости одноклассников. Я пожимал плечами и обещал, что приглашу... попозже.

Весь октябрь шли дожди. С каштанов облетели листья, и птиц почти не стало на оголившихся ветках. Вскоре их пение смолкло окончательно; зима была не за горами.

Каждое утро я выглядывал в окно, подстерегая солнечный луч, но ждать пришлось долго: только в середине ноября он пробился наконец сквозь толщу облаков.

* * *

Как только небо прояснилось, наш учитель естествознания организовал выезд на природу. Оставались считанные дни, чтобы успеть собрать гербарий, достойный так называться.

Взятый напрокат для такого случая автобус довез нас до леса, который начинался сразу за городком. И вот мы, шестой «С» класс в полном составе, оскальзываясь на мокрой земле, принялись собирать всевозможную растительность — листья, грибы, высокие травы и разноцветные мхи. Маркес выступал впереди, как заправский командир. Девочки наперебой старались привлечь его внимание, но он не сводил глаз с Элизабет. Та, держась в сторонке, делала вид, будто этого не замечает, но меня ей было не обмануть, и я с горькой обидой понял, что она довольна.

Засмотревшись на корни большого дуба, между которыми рос мухомор с огромной шляпкой, достойной быть головным убором Штрумпфа, я отстал от класса и оказался один — иными словами, заблудился. Я слышал, как учитель звал меня издали, но не мог понять, с какой стороны доносится голос.

Я попытался догнать класс, но вскоре мне стало ясно, что либо этот лес бесконечен, либо я хожу по кругу. Я задрал голову к вершинам кленов; солнце клонилось к закату, и мне стало не на шутку страшно.

Позабыв о самолюбии, я заорал изо всех сил. Наверно, ребята были на изрядном расстоянии: ни один голос не откликнулся на мой зов. Я присел на пенек и стал думать о маме. С кем она будет коротать вечера, если я не вернусь? Не подумает ли, что я бросил ее, как папа? Он-то хоть предупредил, что уходит. Никогда она мне не простит, что я оставил ее одну, тем более сейчас, когда я ей особенно нужен. Пусть она порой забывала о моем присутствии, когда мы вместе ходили по рядам супермаркета, пусть она теперь редко со мной разговаривала, потому что произносить слова стало трудно, пусть не приходила пожелать мне спокойной ночи, но я знал, что без меня ей будет очень плохо. Тьфу ты, мне надо было подумать об этом, прежде чем тарачиться на дурацкий гриб! Попадись он мне, уж я шибу с него шляпку, будет знать, как шутить со мной шутки!

— Черт побери, что ты тут ошиваешься, придурок?

Впервые с начала учебного года я был от души рад увидеть лицо Маркеса, показавшееся между высокими папоротниками.

— Учитель рвет и мечет, он хотел уже прочесывать лес, но я ему сказал, что сам тебя найду. На охоте мой старик всегда говорит, что у меня дар отыскивать негодную дичь. Получается, он прав. Давай-ка пошевеливайся! Видел бы ты себя: еще немного, и разревелся бы тут, как девчонка.

Эти добрые слова Маркес выпалил мне прямо в лицо, для чего ему пришлось присесть. Солнце светило ему в спину, окружая ореолом голову, и вид у него от этого стал еще более грозный, чем обычно. Лицо его было так близко, что я чувствовал запах жевательной резинки. Он выпрямился и больно ткнул меня в плечо.

— Ну что, пошли или ты собрался здесь ночевать?

Я встал и пропустил его на несколько шагов вперед.

И вот когда он отошел, я вдруг понял: что-то не так. Тень за мной была на добрый метр длиннее обычного, а тень Маркеса стала маленькой, такой маленькой, что вывод напрашивался один: эта тень могла быть только моей.

Маркес спас меня, и если теперь он обнаружит, что я вместо благодарности стащил у него тень, то мне лучше попроситься с нормальной жизнью не только на ближайшую четверть, но и на все школьные годы вплоть до выпускных экзаменов в восемнадцать лет. Не надо быть сильным в математике, чтобы сосчитать, сколько дней кошмара наяву меня ждет.

Я поспешил за ним следом, твердо решив, что наши тени должны снова пересечься, и пусть все снова станет прежним и обычным, как раньше, до папиного ухода. Это был какой-то бред — нельзя вот так запросто присвоить чужую тень! Однако именно это произошло уже во второй раз. Тень Маркеса наложилась на мою и, когда он удалился, осталась, словно приклеившись к моим ногам. Сердце у меня отчаянно колотилось, колени дрожали.

Мы пересекли полянку и вышли на тропу, где поджидал нас учитель естествознания с ребятами. Маркес победным жестом поднял руки — этакий охотник, а я — нечто вроде добычи, которую он тащил за собой. Учитель махал нам, призывая поторопиться. Автобус ждал. Я понимал, что мне опять нагорит. Ребята смотрели на нас, и в их взглядах я угадывал насмешку. Что ж, по крайней мере, сегодня вечером им будет что обсудить дома помимо семейных проблем моих родителей.

Элизабет уже сидела в автобусе, на том же месте, что и на пути сюда. Она даже не смотрела в окно, мое исчезновение, похоже, ее совсем не встревожило. Солнце опустилось еще ниже к линии горизонта, наши тени мало-помалу бледнели, становясь все неразличимее. Тем лучше, теперь никто не заметит того, что произошло в лесу.

Я понуро поплелся в автобус. Учитель естествознания спросил, как я ухитрился потеряться, и признался, что я здорово его напугал. Но он, кажется, был так доволен моим благополучным возвращением, что даже не стал меня ругать. Я сел сзади и за весь обратный путь не проронил ни слова. Сказать-то все равно было нечего, я заблудился, вот и все, это и не с такими случается. Я видел по телевизору передачу про опытных альпинистов, которые заблудились в горах. Какой же тогда спрос с меня?

Дома мама ждала меня в гостиной. Она обняла меня и очень крепко прижала к себе, даже слишком, по-моему, крепко.

— Ты заблудился? — выдохнула она, глядя меня по щеке.

Наверно, она держала связь с директрисой по уоки-токи — разве могла иначе информация обо мне дойти до нее так быстро?

Я рассказал маме о своих злоключениях, и она настояла, чтобы я принял горячую ванну. Сколько я ни твердил, что ничуть не замерз, она и слышать ничего не хотела. Впору было подумать, что ванна может смыть все свалившиеся на нас невзгоды — уход отца для нее и появление Маркеса для меня.

Пока мама намыливала мне голову шампунем, от которого щипало глаза, у меня так и вертелась на языке

история с тенями. Но я знал, что она не примет ее всерьез, скажет: «Не выдумывай», и предпочел промолчать, надеясь, что завтра погода переменится и под серым небом теней не будет видно.

На ужин был ростбиф с жареной картошкой. Оказывается, не так уж плохо заблудиться в лесу, надо бы делать это почаще.

* * *

Мама вошла ко мне в комнату в 7 часов утра. Завтрак готов, быстро умываться, одеваться и за стол, если не хочу опоздать в школу. На самом деле я очень хотел опоздать в школу, а еще больше хотел вообще туда не ходить. Мама сообщила, что день будет погожий, от этого у нее поднялось настроение. Услышав ее удаляющиеся шаги на лестнице, я тотчас нырнул под одеяло. Я лежал и умолял мои ноги не морочить мне голову, заклинал их больше не красть теней и главное — как можно скорее вернуть Маркесу Маркесово. Конечно, мягко говоря, странно разговаривать ранним утром со своими ногами, но надо поставить себя на мое место, чтобы понять, каково мне было.

С тяжелым ранцем за спиной я шел в школу и думал о творившихся со мной чудесах. Как незаметно совершить обмен? Для этого надо было, чтобы тень Маркеса и моя снова пересеклись; а это значило, что придется под каким-то предлогом подойти к Маркесу и заговорить с ним.

До школьных ворот оставалось несколько шагов; я глубоко вдохнул, прежде чем войти. Маркес сидел на спинке скамейки в окружении ребят, которые разинув рты слушали его байки. Сегодня к концу дня заканчивался срок подачи кандидатур на выборы старосты, понятно, что у него в разгаре предвыборная кампания.

Я шагнул к ним. Маркес, наверно спиной почувствовав мое присутствие, обернулся и метнул на меня недобрый взгляд.

— Чего тебе?

Остальные напряглись, ожидая моего ответа.

— Хочу поблагодарить тебя за вчерашнее, — запинаясь, выговорил я.

— Ладно, считай, поблагодарил, а теперь иди играй в шарики, — фыркнул он, и ребята захихикали.

И тут я вдруг почувствовал спиной некую силу — эта сила заставила меня сделать три шага до скамейки, вместо того чтобы послушно уйти.

— Что еще? — повысил он голос.

Клянусь, дальнейшее было полной неожиданностью, я не замышлял заранее того, что сказал, да таким уверенным тоном, что сам удивился:

— Я решил выставить свою кандидатуру на выборы старосты класса, так что давай сразу внесем ясность!

И неведомая сила понесла меня в обратную сторону, к галерее; я шагал прямо, как солдат на плацу.

За спиной — ни звука. Я ожидал услышать смешки, но тишину нарушил только голос Маркеса.

— Что ж, значит, война, — произнес он. — Ты еще пожалеешь.

Элизабет — она к группе не присоединилась — встретила меня на полпути и шепнула, что Маркес действует ей на нервы, после чего удалилась, как будто ничего и не говорила. Я понял, что жить мне осталось до следующей перемены.

А на перемене солнце стояло прямо над двором. Я смотрел на ребят, начавших игру в баскетбол, и вдруг, взглянув под ноги, увидел то, чего так боялся. Мало мне было тени, слишком большой, чтобы быть моей, — я и сам чувствовал себя каким-то другим. Сколько понадобится времени, чтобы кто-нибудь это заметил и открыл секрет, наполнявший меня ужасом? На всякий случай я пошел к галерее, под навес. Люк, сын булочника, который сломал в каникулы ногу и еще ходил в гипсе, помахал мне, приглашая подойти. Я сел рядом с ним.

— Я тебя недооценивал. Ну ты даешь!

— Вот теперь мне точно конец, — ответил я. — Все равно у меня нет никаких шансов.

— Хочешь победить — меняй настрой. Нельзя заранее настраиваться на проигрыш, главное — воля к победе, а с ней и шансы появятся — так говорит мой отец. И потом, я с тобой не согласен. Я уверен, что все эти друзья-приятели — одна видимость, а на самом деле многие его терпеть не могут.

— Кого?

— Твоего соперника, кого же еще? Во всяком случае, на меня можешь рассчитывать, я на твоей стороне.

Этот коротенький разговор был лучшим, что случилось со мной с начала учебного года. Всего лишь мелькнула надежда. Но одна только мысль, что у меня появится друг-ровесник, заставила меня забыть все остальное — и стычку с Маркесом, и проблему с тенью; на минуту я забыл даже о том, что папы не будет дома и я не смогу ему этого рассказать.

В среду уроки закончились в 15:30. Вписав свою фамилию в список кандидатов, приколотый кнопками к пробковой доске у школьного секретариата — кстати, единственную кроме фамилии Маркеса, — я отправился домой, предложив Люку составить ему компанию: мы жили в одном квартале.

Мы шли рядом по тротуару, и я очень боялся, что он заметит странность с нашими тенями: моя вытягивалась гораздо дальше, чем его, хотя мы были примерно одного роста. Но он не смотрел под ноги, наверно, из-за гипса, которого стеснялся. Одноклассники с первого дня прозвали его «Капитан Крюк».

Когда мы проходили мимо булочной, он спросил, как я смотрю на то, чтобы съесть шоколадную булочку. У меня не хватало карманных денег на такую роскошь, зато в ранце лежал приготовленный мамой сандвич с нутеллой, тоже вкусно, и я предложил разделить его пополам. Люк рассмеялся и сказал, что мама не имеет привычки брать с него деньги за полдники. Он с гордостью указал на витрину булочной. На вывеске изящными буквами была выведена надпись: «Булочная Шекспира» — именно она принадлежала его родителям.

— Твоя фамилия правда Шекспир?

— Да, правда, но я не родственник создателю Гамлета, это просто синоним.

— Омоним, — поправил я.

— Точно. Ну что, как насчет шоколадной булочки?

Люк толкнул дверь магазина. Его мама, вся кругленькая, сама походила на булочку и сияла улыбкой. Она поздоровалась с нами; выговор у нее был не местный. Мама Люка говорила певучим голосом, от которого тепло на душе, и обращалась к вам так, что вы сразу чувствовали себя желанным гостем.

Она предложила нам на выбор шоколадную булочку или кофейный эклер и, не успели мы задуматься, решила угостить нас и тем и другим. Мне сделалось неловко, но Люк сказал, что отец выпекает всегда слишком много и что не продано до вечера, идет на выброс, зачем же добру пропадать? Уговаривать нас не пришлось, мы уплели и по шоколадной булочке, и по кофейному эклеру.

Мама Люка попросила его побыть в магазине, пока она ходит в пекарню за новой партией хлеба.

Мне было странно видеть моего приятеля на высоком табурете за кассой. Я вдруг представил себе нас с ним на двадцать лет старше, во взрослой одежде, он — булочник, я — покупатель...

Моя мама часто говорит, что воображение бежит впереди меня. Я зажмурился и, странное дело, увидел себя входящим в эту булочную: у меня была борода, а в руке я держал чемоданчик — наверно, когда вырасту, я буду врачом, а может быть, бухгалтером, они тоже носят чемоданчики. Я подхожу к прилавку, заказываю кофейный эклер — и вдруг узнаю старого школьного товарища. Я не видел его столько лет, мы крепко обнимаемся, а потом вместе уплетаем по шоколадной булочке и по кофейному эклеру в память о добрых старых временах.

Наверно, в этой булочной, глядя, как мой приятель Люк играет в кассира, я впервые осознал, что когда-нибудь состарюсь. Не знаю почему, но, тоже впервые, мне не захотелось расставаться с детством, покидать это тело, до сих пор казавшееся мне слишком маленьким. Что-то странное творилось со мной с тех пор, как я украл тень Маркеса, — наверно, были какие-то побочные эффекты у этого непостижимого

феномена, и мысль эта меня отнюдь не радовала.

Мама Люка поднялась из пекарни с решетчатым подносом, полным маленьких булочек, от которых чудесно пахло, и Люк сообщил ей, что покупателей не было. Она вздохнула, пожав плечами, разложила булочки на витрине и спросила, не пора ли нам делать уроки. Я обещал маме управиться до ее прихода, поэтому, еще раз поблагодарив Люка и его маму, поспешил домой.

На перекрестке я положил мой сэндвич с нутеллой на каменную ограду — пусть птицы полакомятся; есть мне больше не хотелось, но еще меньше хотелось обидеть маму, дав ей понять, что ее полдники не так вкусны, как пирожные мадам Шекспир.

Тень передо мной стала еще длиннее. Я шел, прижимаясь к стенам, из страха встретить кого-нибудь из одноклассников.

Придя домой, я опрометью кинулся в сад, чтобы подробнее изучить странное явление. Папа говорит, что, если хочешь вырасти, надо смотреть в лицо своим страхам и сравнивать их с действительностью. Это я и попытался сделать.

Иные часами просиживают перед зеркалом, надеясь увидеть в нем другое, не свое отражение, а я весь остаток дня играл с новой тенью и, к немалому моему удивлению, почувствовал себя словно заново родившимся. Впервые в жизни — пусть это был лишь отпечатанный на земле негатив — я сознавал себя другим. Когда солнце зашло за холм, мне стало одиноко и даже немного грустно.

Наскоро поужинав, я сделал уроки и, пока мама смотрела по телевизору свой любимый сериал, — посуда, решила она, подождет, — под шумок улизнул на чердак, так что она и не заметила. У меня родилась одна идея. Там, под крышей, было большое слуховое окно, круглое, как полная луна, а луна в этот вечер как раз стояла полная. Я должен был во что бы то ни стало выяснить, что со мной произошло. Это не шуточки — наступить на чью-то тень и унести ее с собой. Мама говорила, что у меня слишком буйное воображение, поэтому я решил спокойно во всем разобраться, а единственным по-настоящему спокойным местом для меня был чердак.

Там, наверху, был мой мир, только мой. Отец никогда туда не ходил: потолок был слишком низкий, он стучался головой и говорил нехорошие слова — «черт», «дерьмо» или «твою мать». Иногда даже все три сразу. Произнеси я хоть одно, мне бы досталось по первое число, но взрослым позволено делать много такого, что они нам запрещают. В общем, как только я подрос и смог забираться на чердак самостоятельно, отец стал посылать туда меня, а я был рад оказать ему эту услугу. Если говорить начистоту, сначала я боялся подниматься на чердак, потому что там было очень темно, но потом меня стало невозможно оттуда выгнать. Мне доставляло огромное удовольствие пробираться под низким потолком между чемоданами и старыми картонными коробками.

В одной из них я обнаружил целый альбом маминых фотографий, на которых она еще совсем молодая. Мама у меня и сейчас красивая, но на этих снимках она просто чудо как хороша. А в другой коробке нашлись свадебные фотографии моих родителей. С ума сойти, как они, похоже, любили друг друга тогда.

Глядя на них, я не мог понять, что произошло: как могла вдруг исчезнуть вся эта любовь? И главное, куда она девалась? Может быть, любовь как тень — наступит на нее кто-то и унесет с собой? Может быть, избыток света опасен для любви или, наоборот, когда света мало, тень любви бледнеет и исчезает совсем? Я стащил одну фотографию из альбома: папа держит маму за руку на крыльце мэрии. У мамы круглый живот, это значит, я как будто тоже там, с ними. Вокруг моих родителей стоят дяди и тети, кузены и кузины, я почти никого из них не знаю, и всем им явно очень весело. Вот бы и мне когда-нибудь жениться на Элизабет, если она согласится, а я вырасту сантиметров этак на тридцать.

Еще на чердаке валялись сломанные игрушки, те, которые я, досконально выяснив, как они устроены, так и не сумел починить. В общем, среди всего этого домашнего хлама я чувствовал себя как будто в другом мире и знал, что этот мир словно специально создан для меня. Да, мой мир был в моем доме, но под самой крышей.

И вот я, устроившись у слухового окна, стою прямо и смотрю, как всходит луна, она полная, и ее свет ложится на половицы чердака. Видно даже, как летают в лунном луче пылинки, и от этого здесь так мирно и спокойно. Сегодня, до прихода мамы, я забрался в бывший папин кабинет, чтобы прочесть все, что найду, о тенях. Статья в энциклопедии оказалась довольно сложной, но благодаря иллюстрациям я немало узнал о том, как появляются тени, как можно их перемещать и даже ориентировать. Моя уловка должна была сработать, когда луна будет на оси окна. Я с нетерпением ожидал этого момента, надеясь, что он наступит до конца

мамино сериала.

Наконец то, чего я ждал, произошло. Прямо передо мной на половицах чердака вытянулась длинная тень. Я кашлянул, собираясь с духом, и произнес вслух то, в чем уже был уверен:

— Ты не моя тень!

Я не сумасшедший и, признаюсь, изрядно испугался, когда услышал ответный шепоток тени:

— Я знаю.

Гробовое молчание. Во рту у меня пересохло, горло сжалось, но я продолжал:

— Ты тень Маркеса, да?

— Да, — прошелестело у меня в ушах.

Когда к вам обращается тень, это похоже на музыку, звучащую в голове: музыканта нет, но ее слышишь так явственно, будто несуществующий оркестр играет совсем рядом. Такое примерно впечатление.

— Только умоляю, никому не говори, — сказала мне тень.

— Что ты вообще здесь делаешь? Почему ты со мной? — спросил я встревоженно.

— Я убежала. Ты не догадался?

— Почему же ты убежала?

— А ты знаешь, каково быть тенью дурака? Сил моих больше нет. Когда он еще был маленьким, мне уже приходилось тяжело, а чем дальше он растет, тем труднее мне его выносить. Другие тени, и твоя тоже, надо мной смеются. Знал бы ты, как повезло твоей тени! Знал бы, как она смотрит на меня свысока! Все потому, что ты не такой.

— Я не такой?

— Забудь, что я сказала. Другие тени говорят, что у нас нет выбора, наша судьба — быть тенью одного человека, и это навсегда. Человек должен измениться, чтобы наша участь стала лучше. А с Маркесом, посуди сам, какое будущее меня ждет? Представляешь, как я удивилась, почувствовав, что могу отделиться от него, когда ты оказался рядом? У тебя необычайный дар, и я даже не раздумывала, просто сказала себе: теперь или никогда. Я, признаться, воспользовалась своим ростом, я ведь тень Маркеса, уж извини. Я оттолкнула твою, чтобы занять ее место.

— А моя тень? Что ты с ней сделала?

— А ты как думаешь? Ей надо было к кому-нибудь прилепиться, вот она и ушла с моим бывшим хозяином. Я ей, честно говоря, не завидую.

— Ты нехорошо поступила с моей тенью. Завтра же отдам тебя Маркесу, а ее верну.

— Пожалуйста, позволь мне остаться с тобой. Я хочу испытать, каково это — быть тенью хорошего человека.

— Я хороший человек?

— Ты можешь им стать.

— Нет, это невозможно: если я тебя оставлю, люди рано или поздно заметят, что со мной что-то не так.

— Люди и на других людей-то не обращают внимания, не то что на их тени... И потом, природа моя такая — держаться в тени. Немного тренировки и взаимопонимания — и у нас с тобой все получится.

— Но ты раза в три длиннее моего роста.

— Это ведь не навсегда, всего лишь вопрос времени. Скажем так, пока ты мал, тебе тоже придется

держаться в тени, но когда пойдешь в рост, я выведу тебя к свету. Подумай, это ведь немалое преимущество — иметь большую тень. Если б не я, разве ты бы выставил свою кандидатуру на выборы старосты класса? Кто, по-твоему, тебя заставил поверить в себя?

— Так это ты меня подтолкнула?

— Кто же еще, — призналась тень.

Вдруг я услышал мамин голос: она стояла под лесенкой, ведущей на чердак, и спрашивала меня, с кем это я там беседую. Не подумав, я брякнул, что разговариваю со своей тенью. Разумеется, она ответила, что, чем нести чушь, лучше бы я шел спать. Взрослые никогда не верят, если вы говорите с ними всерьез.

Тень пожала плечами, и мне показалось, что она меня понимает. Я отошел от окна, и она исчезла.

* * *

В ту ночь мне приснился очень странный сон. Я иду с отцом на охоту; несмотря на то что охоту я не люблю, я счастлив, что мы снова вместе. Я шагаю за ним следом, но он не оглядывается, и я не вижу его лица. Перспектива убивать животных меня ни капельки не радует. Отец посылает меня на разведку по бескрайним полям, где колышутся под ветром порыжевшие от солнца травы. Моя задача — хлопать в ладоши, чтобы перепелки взлетали, и тогда он в них стреляет. Чтобы помешать кровопролитию, я стараюсь идти как можно медленнее. Удирает, проскользнув между моих ног, заяц, и отец ругается: толку, мол, от меня никакого, только и умею поднимать негодную дичь. По этой фразе я понял — во сне, — что человек вдали не мой отец, а отец Маркеса. Я оказался на месте моего врага, и ощущение было не из приятных.

Конечно, я стал выше и чувствовал себя сильнее, но мне было очень грустно, как будто со мной приключилось несчастье.

С охоты мы вернулись домой — но это не мой дом. Я сижу за обеденным столом, отец Маркеса уткнулся в газету, его мама смотрит телевизор, со мной никто не разговаривает. У нас дома за столом всегда говорили; когда папа жил с нами, он спрашивал меня, как прошел день, а теперь, после его ухода, об этом спрашивает мама. Но родителям Маркеса, видно, до лампочки, сделал ли он уроки. Казалось бы, здорово, а на самом деле совсем наоборот, и я понял, откуда эта внезапная грусть: хоть Маркес и мой враг, мне обидно за него из-за царящего в его доме равнодушия.

* * *

Когда зазвонил будильник, я проснулся в поту. Было трудно дышать, и я весь горел, как при высокой температуре, но до чего же хорошо, что это был всего лишь кошмарный сон. Я сильно вздрогнул в последний раз — и все стало прежним. В это утро я почувствовал себя счастливым только оттого, что меня окружали стены моей комнаты. Умываясь, я думал, надо ли рассказать маме о том, что со мной случилось. Мне хотелось разделить с ней мою тайну, но я догадывался, что она на это скажет.

Первое, что я сделал, спустившись в кухню, — кинулся к окну. Было пасмурно, ни клочка синевы на горизонте, даже штанишки моряку не выкроишь, как говорил папа, когда приходилось отменить рыбалку. Я схватился за пульт, чтобы включить телевизор.

Мама удивилась: что это я вдруг так заинтересовался прогнозом погоды? Я соврал, что готовлю доклад о глобальном потеплении климата, и попросил дать мне спокойно дослушать даму-синоптика, которая говорила, что облачный фронт, обусловленный глубоким циклоном, установится в нашем регионе на ближайшие несколько дней. Как же некстати! Со всеми этими облаками на появление теней нет никаких шансов, а значит, невозможно вернуть тень Маркесу. Взяв ранец, я с тяжелым сердцем отправился в школу.

* * *

Люк все перемены просиживал на скамейке. С гипсом и костылем больше ему делать было нечего. Я сел рядом с ним, и он показал мне пальцем на Маркеса. Этот большой дурень пожимал руки всем одноклассникам и делал вид, будто интересуется разговорами девочек.

— Ну-ка, помоги мне пройти, нога совсем затекла.

Я подал ему руку, и мы встали, чтобы пройти. В этот день мне, видно, везло: как раз когда мы

приблизилась к Маркесу, крошечный просвет вдруг образовался в пасмурном небе. Я тотчас посмотрел вниз — там была целая толпа, тени сгрудились, словно собравшись на тайный совет (нам объяснили, что это такое, на уроке истории как раз перед этой переменой). Маркес обернулся к нам и взглядом дал понять, что мы для него — нежеланные гости. Люк пожал плечами.

— Пойдем, надо поговорить. Скоро выборы, — сказал он, опираясь на костыль. — Ты не забыл, в пятницу? Пора тебе что-нибудь сделать для своей популярности.

Слова Люка прозвучали очень по-взрослому. Глядя на него, прихрамывающего, ссутуленного, я вдруг словно увидел сон наяву. Мне примерещились мы оба, гораздо старше, чем сейчас, даже старше, чем виделись в прошлый раз в булочной. Как будто наша дружба длилась целую жизнь. У Люка почти не осталось волос, лоб из-за лысины казался высоченным. Лицо было усталое, в морщинках, но голубые глаза блестели по-прежнему, и это меня радовало.

— Что ты будешь делать потом, после школы? — спросил я.

— Не знаю, а что, это прямо сейчас надо решить?

— Нет, не обязательно, ну, то есть не думаю. Но если бы тебе пришлось выбирать сейчас, чем бы ты хотел заниматься?

— Наверно, родительской булочной.

— Нет, а если бы у тебя был выбор, чем еще?

— Я бы хотел быть врачом, как месье Шаброль, но вряд ли это возможно. Мама говорит, что дела идут все хуже, скоро покупателей вообще не останется. С тех пор как хлеб продают в супермаркете, родители еле сводят концы с концами, так что, сам понимаешь, каково им будет оплатить мне учебу на медицинском факультете!

Я знал, что Люк не станет врачом, знал это совершенно точно с того дня, когда мы ели шоколадные булочки и кофейные эклеры и я увидел его за кассой. Люк останется в нашем городке; у его семьи так и не хватит средств оплатить ему долгую учебу.

С одной стороны, можно было порадоваться, ведь это значило, что булочная выстоит в войне с супермаркетом, — но доктором ему не стать. Говорить ему этого я не хотел, догадываясь, что он расстроится, даже, может быть, падет духом, а ведь по естественным наукам он был лучшим в классе. И я не стал делиться с ним этим секретом — промолчал. А мне ведь надо внимательно смотреть, куда я ступаю, следить за каждым своим шагом. Даже в пасмурный день всегда может выглянуть солнце. Знать заранее, что будет с людьми, к которым ты хорошо относишься, — счастливее от этого точно не станешь.

— Так насчет выборов, что ты думаешь делать?

Но у меня в голове вертелся другой вопрос.

— Люк, если бы ты мог знать, что люди думают или, вернее, отчего им плохо, что бы ты сделал?

— Ну и мысли у тебя. С чего вдруг? Так не бывает.

— Я знаю, но если бы у тебя все-таки был такой дар, как бы ты его использовал?

— Не знаю, по-моему, от такого дара мало радости, я бы, наверно, боялся, что чужое несчастье перейдет на меня.

— Ты боялся бы? И все?

— В конце каждого месяца, когда родители подводят счета, я вижу, как они тревожатся, и мне от этого плохо, но сделать я ничего не могу. А если бы я чувствовал беды всех людей на свете? Это было бы ужасно.

— А представь, если бы ты мог что-то изменить?

— Ну, изменил бы, наверно. Ладно, что-то мне тоскливо от этих разговоров, давай лучше вернемся к выборам и подумаем вместе.

— Люк, если бы ты стал мэром городка, когда вырастешь? Тебе бы этого хотелось?

Люк прислонился к стене, переводя дыхание. Он пристально посмотрел на меня, и его хмурый вид сменился широкой улыбкой.

— Это было бы здорово. Родителям бы понравилось, и потом, я смог бы провести закон, запрещающий супермаркету открывать отдел хлеба. Еще, наверно, я запретил бы секцию товаров для рыбной ловли, потому что лучший друг моего отца держит такую лавочку на рыночной площади и ему тоже туго приходится из-за конкуренции супермаркета.

— Можешь вообще провести закон о закрытии супермаркета.

— Думаю, когда я стану мэром, — сказал Люк, хлопнув меня по плечу, — ты будешь у меня министром торговли.

Вечером, дома, на до будет спросить у мамы, есть ли при мэрах министры. Я бы не отказался стать министром Люка, но у меня возникло маленькое сомнение.

В школьном коридоре, идя на урок, я от души надеялся, что проглянувшее на перемене солнце поставило всё на свои места и тень Маркеса вернулась к законному хозяину; я молился о том, чтобы при следующем просвете увидеть под ногами мою собственную тень, но в то же время, хоть это может показаться странным, мне было немного стыдно за такие мысли.

* * *

Урок математики только начался, как вдруг во дворе раздался оглушительный грохот. Окна разлетелись вдребезги, а учитель истощным голосом крикнул: «Всем лечь на пол!» Повторять дважды ему не пришлось.

Наступила гробовая тишина. Месье Жербье поднялся первым и спросил, не ранен ли кто. Вид у него был перепуганный. Если не считать осколков стекла в волосах да двух девочек, которые плакали просто от страха, все было в порядке, только окна выглядели жутко да с парт все смело на пол. Учитель поспешно вывел нас из класса и велел построиться в колонну. Сам он вышел последним и побежал по коридору, чтобы встать во главе. Наверно, учителя тренировались заранее, потому что все остальные классы поступили точно так же и коридор был полон народу; звонок звонил вовсю. Во дворе зрелище было и вовсе невероятное. Стекла вылетели почти во всех окнах школы, а из-за сторожки валил густой дым.

— Бог ты мой, — воскликнул месье Жербье, — это же цистерна с газом!

При чем тут Бог? Я представил себе его с огромной зажигалкой: хотел закурить, да промахнулся. Впрочем, нам столько талдычили о вреде курения, что я плохо представлял Бога, балующегося сигаретами, а впрочем, может быть, его легким ничего не страшно, он ведь уже на небесах. Дым, правда, и поднимался столбом до небес, но это было скорее всего совпадение.

Директриса, сама не своя, третий раз приказывала учителям нас пересчитать и металась по двору, повторяя: «Вы уверены, что все здесь?» Потом ей вдруг вспоминалось чье-то имя, она кричала: «Матье, маленький Матье, где он? А, он здесь!» — и, не успев порадоваться, принималась звать кого-то еще. К счастью, обо мне она не вспомнила, еще не хватало напоминать, что я маленький, тем более накануне выборов.

Там, где рвануло, творилось что-то несусветное. Был слышен треск, все выше вздымались языки пламени за сторожкой, я даже видел, как танцуют на крыше их тени. А перед собой я вдруг увидел другую тень, тень Ива, как будто она пришла за мной. Тень приближалась, я знал, что она ищет меня, я изо всех сил это чувствовал. Директриса и учителя были заняты подсчетом учеников, на меня никто не обращал внимания, и я пошел к сторожке, куда звала меня тень.

Откуда-то доносился вой сирен, но они были еще далеко. Тень Ива по-прежнему вела меня, я шел прямо к клубам дыма, жар усиливался, идти было все труднее. Но я должен был идти: кажется, я понял, почему тень пришла ко мне.

Я почти добрался до сторожки, когда языки пламени начали лизать крышу. Мне было страшно, но я все равно шел вперед. Вдруг я услышал голос мадам Шеффер, она выкрикивала мое имя и бежала за мной. Бегают мадам Шеффер, прямо скажем, не быстро. Она кричала мне: «Вернись немедленно!» Я бы и рад послушаться, но не мог и шел дальше туда, куда велела тень.

У сторожки жар стал невыносимым; я уже взялся за ручку, но тут рука мадам Шеффер схватила меня за плечо и потянула назад. Она метнула на меня испепеляющий взгляд — это подходило к случаю, — но я уперся и не отступил. Я смотрел на дверь, глаз не мог от нее оторвать. Учительница тащила меня за руку и грозила головомойкой, но я вырвался и снова кинулся к сторожке. А потом, поняв, что она догоняет меня, высказал ей, что лежало на сердце, — это вырвалось само собой.

— Надо спасти сторожа! Его нет во дворе, он там, в сторожке, задыхается!

Мадам Шеффер сама чуть не задохнулась, когда это услышала. Она велела мне отойти, а сама... Я просто обалдел от того, что она сделала! Она вообще-то худенькая, мадам Шеффер, не то что мама Люка, но так мощно саданула ногой в дверь, что замок не устоял. Мадам Шеффер одна ринулась в сторожку и через две минуты показалась в дверях, волоча за плечи Ива. Я все-таки немного помог ей, пока не подоспел на смену учитель физкультуры, а меня не поймала за штанину директриса, чтобы утащить под навес.

Приехали пожарные. Пожар вскоре потушили, а Ива увезли в больницу. Нас успокоили: он вне опасности.

Директриса — странная какая! — то ругала меня, то со слезами принималась тискать, повторяя, что я спас Ива, что никто о нем не подумал, кроме меня, и что она никогда себе этого не простит. Уж остановилась бы на чем-нибудь одном!

Главный пожарный вызвал меня. Меня одного! Попросил покашлять, вывернул веки, заглянул в рот, осмотрел меня с головы до ног. Потом, крепко хлопнув по спине, сказал, что, если я захочу, когда вырасту, служить в его бригаде, он будет рад принять меня в свои ряды.

И тут я убедился, что моя мама не одна держала связь с директрисой по переговорному устройству: она убежала во двор с толпой других таких же перепуганных родителей.

Всех отпустили по домам, уроки на сегодня закончились.

В следующую пятницу меня выбрали старостой класса почти единогласно, за вычетом одного голоса: этот болван Маркес проголосовал сам за себя.

* * *

Я подошел к Люку после подсчета голосов. Он ничего не сказал, просто улыбнулся. В то утро ему сняли гипс, и он показал мне ногу, уже здоровую, но все же намного тоньше другой.

* * *

Через неделю после взрыва цистерны Ив вернулся в школу, такой же, как всегда, только с повязкой на лбу, делавшей его похожим на пирата. Она ему, пожалуй, шла, как будто раньше ему чего-то не хватало. Я не знал, сказать ли ему это, и решил: там будет видно, если однажды представится случай поговорить о пиратах.

На большой перемене я вышел из столовой раньше всех, есть не очень хотелось. Ив в глубине двора смотрел на то, что осталось от его сторожки, — а осталось, надо сказать, немного. Склонившись над кучкой обугленных деревяшек, он осторожно приподнимал их одну за другой. Я пошел было к нему, но он, не оборачиваясь, сказал:

— Не подходи, здесь опасно, можешь пораниться.

Ничего опасного я не видел, но перечить ему не хотелось. Я остановился поодаль; он знал, что я здесь, но сначала не обращал на меня внимания. Интересно, что он искал? Вряд ли что-нибудь могло уцелеть в этих развалинах. Он схватил какую-то прямоугольную штуку, обугленную со всех сторон, и, положив ее на колени, вдруг затрясся всем телом. Кажется, он плакал, и настроение у меня от этого стало чернее обгоревших руин сторожки.

— Я же тебе сказал, не стой здесь!

Я не двинулся с места. Вид у Ива был такой несчастный; хоть он и гнал меня, ясно, что его не следовало оставлять одного. Для того и нужны друзья, верно? Друг умеет угадать, что у человека на душе, пусть даже тот говорит обратное.

Ив обернулся ко мне; глаза у него были красные. Слезы текли по щекам, как чернила по подмоченному

чертежу. В руках он держал старую обгоревшую тетрадь.

— Здесь была вся моя жизнь. Фотографии, единственное письмо от мамы, памятки о ней — все было наклеено на эти страницы. Ничего не осталось, только пепел.

Ив попытался открыть тетрадь, но обложка рассыпалась под его пальцами. Я подумал, что правильно сделал, оставшись с ним.

— Ваша голова не сгорела, все это никуда не делось, достаточно вспомнить. Письмо вашей мамы можно переписать, можно даже нарисовать то, что было на фотографиях, разве не так?

Ив улыбнулся. Я, по правде говоря, не видел ничего смешного, но был рад, что вид у него уже не такой несчастный.

— Я знаю, что это ты поднял тревогу, — сказал он мне, выпрямившись. — Когда рванула цистерна, я кинулся в сторожку, чтобы успеть хоть что-нибудь спасти. Огня еще не было, только густой дым заволок все. Я не выдержал в этом аду и пяти минут. Не мог открыть глаза, так их щипало, и не сумел нашарить ручку двери. Воздуха не хватало, я ударился в панику, не смог задержать дыхание и отключился.

Впервые мне рассказывали о пожаре, увиденном изнутри, — это впечатляло.

— А как ты узнал, что я там? — спросил Ив.

Взгляд его стал таким печальным, что мне не захотелось ему врать.

— Она была так важна для вас, эта ваша тетрадь?

— Надо думать, она чуть не стоила мне жизни. Я перед тобой в неоплатном долгу и хочу извиниться. Тогда, на скамейке, когда ты говорил о моем отце, я решил, что ты забрался сюда и порылся в моих вещах. Я никогда никому не рассказывал о моем детстве.

— Я даже не знал о вашей тетради.

— Ты не ответил на мой вопрос: как ты узнал, что я задыхаюсь в сторожке?

Что я мог ему ответить? Что за мной пришла его тень? Что среди хаоса она пробиралась меж других теней по бетону двора — ко мне? Что она подавала мне знаки в свете пламени, умоляя последовать за ней? Какой взрослый бы этому поверил?

Один мой одноклассник из прежней школы заработал год сеансов у психолога за то, что сказал правду. По средам во второй половине дня, когда мы играли в волейбол или плавали в бассейне, он сидел в приемной, а потом рассказывал свою жизнь тетеньке, которая улыбалась и кивала: «Ммм, ммм». Все потому, что однажды, в субботу, его дедушка уснул прямо за обедом — упал на стол, да так больше и не проснулся. С тех пор дедушка навещал моего одноклассника по ночам — видно, хотел извиниться — и продолжал прерванный за обедом разговор. Никто ему не верил; утром, когда он говорил, что видел ночью дедушку, все взрослые смотрели на него с ужасом. Можно представить, что будет со мной, если я расскажу, что общаюсь с тенями. Нет уж, чем ходить к психологу, лучше соврать, признать свою вину, сказать Иву, что я читал его тетрадь и даже выучил некоторые места наизусть.

Ив не сводил с меня глаз. Я украдкой покосился на школьные часы — до звонка оставалось еще добрых двадцать минут.

— Я увидел, что вас нет во дворе, и мне стало тревожно за вас.

Ив долго молчал. На него напал кашель; отдышавшись, он наклонился ко мне и сказал на ухо:

— Я могу доверить тебе один секрет?

Я кивнул.

— Если однажды будет у тебя что-то на сердце, что-то, о чем не хватает духу рассказать, знай, ты всегда можешь поделиться со мной, я тебя не выдам. А теперь беги, играй с ребятами.

Я чуть было не раскололся. Наверно, мне стало бы легче, поделись я со взрослым, а Иву и правда можно было доверять. Я решил, что подумаю над его предложением вечером, когда лягу спать, и если оно будет казаться мне по-прежнему заманчивым утром, то, может быть, я скажу ему правду.

Я пошел к Люку. Впервые с того момента как с ноги сняли гипс, он играл в баскетбол, но игроком был еще слабым, и ему требовалась поддержка.

* * *

С тех пор как взорвалась цистерна, не выдалось ни одного солнечного дня. Стекла в окна вставили, но в классах стоял жуткий холод, и мы сидели на уроках в пальто. Мадам Шеффер в классе не снимала вязаную шапочку, и уроки английского стали гораздо интереснее из-за помпона, который ходил ходуном, стоило ей открыть рот. Мы с Люком прикусывали языки, чтобы не хихикать. В страховой компании разбирались, что произошло, но дело это долгое, — пока директрисе дадут денег на новую цистерну, пройдет зима. Ну и пусть, зато мадам Шеффер вела уроки в шапочке с помпоном.

Мои отношения с Маркесом тоже были ледяными. Каждый раз, когда учителя посылали меня за бумагами в секретариат — эта миссия всегда поручается старосте, — я чувствовал, как за моей спиной свистят стрелы. После того как мне случилось во сне побывать у него дома, я не держал на него зла и его насмешки стали мне безразличны. Мама сказала, что в следующую субботу папа заберет меня на весь день, и ни о чем другом я думать не мог. Я был счастлив, но тревожился за маму. Меня мучила мысль о том, что она будет скучать целый день без меня, и я чувствовал себя виноватым, что брошу ее одну.

Наверно, моя мама тоже умеет читать мысли, от которых плохо, — по крайней мере мои; в этот вечер она вошла ко мне в комнату, когда я уже гасил свет, присела на кровать и подробно рассказала, что станет делать, пока я буду с отцом. В мое отсутствие она собиралась пойти в парикмахерскую. Она говорила об этом так радостно, что я удивился, ведь для меня поход в парикмахерскую — это скорее наказание.

Теперь, когда я был спокоен за маму, чем меньше оставалось до конца недели, тем труднее мне было сосредоточиться на уроках. Я все время думал о том, как мы с папой проведем день. Может быть, мы сходим в пиццерию, как бывало, когда мы еще жили вместе. Надо взять себя в руки, еще только четверг, не хватало заработать наказание!

В пятницу мне казалось, что в часе стало больше минут, чем обычно. Как при переходе на зимнее время, когда к суткам прибавляется час. В этот день я переходил на зимнее время каждые шестьдесят минут. Стрелка часов над классной доской ползла медленно, так медленно, будто Бог мухлевал и первая перемена началась тогда, когда должна была начаться последняя. Да, весь день я был уверен, что нас всех обдурили.

* * *

Я сделал уроки — мама была тому свидетелем — и, почистив зубы, лег на час раньше обычного. Я хотел быть в форме назавтра, хоть и знал, что вряд ли усну. Сон все же пришел, но проснулся я очень рано.

Я встал, тихонько умылся и спустился на цыпочках в кухню приготовить маме завтрак — хоть так я мог извиниться за то, что оставляю ее на целый день одну. Потом я поднялся к себе одеться. Надел фланелевые брюки и белую рубашку, в которой провожал дедушку моего одноклассника на кладбище, где никто больше не помешает ему спать. На кладбищах всегда так спокойно.

Я вырос с прошлого года, ненамного, но из-под брюк были видны носки. Мне хотелось надеть галстук, который купил мне папа, — мой первый галстук, как он сказал, когда дарил его мне, — но я не сумел завязать узел и просто намотал его на шею как шарф. Ладно, папе все равно будет приятно, да к тому же так я смахивал на поэта. Я видел фото Бодлера в учебнике по французскому, он тоже не умел как следует завязывать галстук, а между тем женщины были от него без ума. Блейзер стал мне чуточку тесноват, но выглядел я очень элегантно. Хорошо бы прогуляться с папой по рыночной площади. Если повезет, мы можем встретить Элизабет, когда она пойдет со своей мамой за покупками.

Посмотревшись в зеркало в родительской ванной, я спустился в гостиную и стал ждать.

Мы не пошли на рыночную площадь. Папа не приехал. Он позвонил в полдень, чтобы извиниться. Извинялся он перед мамой: я не захотел с ним разговаривать. Мама расстроилась, кажется, еще больше, чем я. Она предложила пойти вдвоем в ресторан, но мне расхотелось есть. Я переоделся и убрал галстук в шкаф. Хоть бы не слишком вырасти в ближайшие месяцы, чтобы, если папа все-таки за мной приедет, мой выходной

костюм еще был мне впору.

Все воскресенье шел дождь, и мы с мамой сидели дома, коротая время за играми. У меня душа к ним не лежала, и я все время проигрывал маме.

* * *

В понедельник я не пошел в столовую: терпеть не могу вареную телятину и зеленый горошек, а по понедельникам как раз дают телятину с горошком. Дома я тайком приготовил себе сэндвич с нутеллой и теперь вышел во двор и устроился перекусить под каштаном. Ив был там, грузил в тачку останки своей сторожки. Он отвозил их в глубь двора, к большим мусорным бакам, и сваливал туда все, что осталось от его воспоминаний. Увидев меня, он подошел поздороваться. Я не имел ничего против, последние два дня мне было одиноко и любое общество только радовало. Я разделил свой сэндвич и предложил ему меньшую половину. Думал, откажется, но он взял и съел с аппетитом.

— Ты как будто не в своей тарелке. Случилось что-нибудь?

— У меня тоже есть много фотографий дома, на чердаке. Если я их вам принесу, вы можете мне составить памятный альбом?

— Почему же ты не сделаешь это сам?

— Я получил за гербарий четыре из двадцати: совсем не умею наклеивать.

Ив улыбнулся и сказал, что я все-таки еще молод для памятного альбома. Я ответил, что речь идет о фотографиях родителей. Они были сняты до моего рождения, я по определению не могу ничего помнить. Потому-то я и хочу наклеить эти снимки в альбом, чтобы лучше узнать своих родителей, особенно отца. Ив посмотрел на меня молча, как мама, когда она пытается понять, что со мной не так. А потом он сказал, что лучшие воспоминания у меня еще впереди и мне очень повезло.

Взрослые вечно твердят, как хорошо быть ребенком, но клянусь вам, в иные дни, вот как в прошлую субботу, детство — это самая настоящая гадость.

Местные жители скажут вам, что зимы здесь ужасны, хмурое небо и холод три месяца подряд, без единого дня передышки. Я раньше с ними был согласен, но когда любой луч солнца может представлять для тебя опасность, волей-неволей полюбишь этот край, где зимы так суровы. Беда в том, что рано или поздно непременно приходит весна.

* * *

В последние дни марта солнце встало в синем небе без единого облачка. Я шел в школу, и, к моей великой радости, тень на дороге передо мной была, кажется, моей.

Я остановился у булочной, где всегда поджидал Люка; его мама поздоровалась со мной из-за витрины. Я помахал ей в ответ и, пока Люк не вышел, успел внимательнее рассмотреть происходящее на тротуаре. Сомнений быть не могло, ко мне вернулась моя тень. Я узнал даже прядки надо лбом, которые мама всегда старалась пригладить перед уходом в школу, говоря, что у меня на голове растут пшеничные колоски, совсем как у отца. Может быть, именно поэтому они не давали ей покоя каждое утро.

Моя тень вернулась ко мне — отличная новость! Теперь надо было следить в оба, чтобы снова ее не потерять и главное — не присвоить чью-нибудь еще. Люк, наверно, прав, чужие несчастья заразны, вот мне и было плохо всю зиму.

— Долго ты будешь смотреть на свои ноги? — спросил меня Люк.

Я и не слышал, как он подошел. Он хлопнул меня по плечу и потянул за руку:

— Пошли быстрее, а то опоздаем.

Странная вещь происходит с наступлением весны. Девочки меняют прически, раньше я этого не замечал, но теперь, увидев в школьном дворе Элизабет, осознал очевидное.

Она распустила свой конский хвостик, и волосы падали ей на плечи. Так она была гораздо красивее, и мне,

сам не знаю почему, стало очень грустно. Быть может, я догадывался, что на меня она никогда и не взглянет. Я победил на выборах старосты класса, но Маркес победил в борьбе за сердце Элизабет, а я и не заметил, как это вышло. Да, я был слишком занят своими глупыми переживаниями из-за теней, а они тем временем сближались потихоньку за моей спиной, пока я сидел за первой партой. Я не засек маневра Элизабет, которая отступала на ряд с каждой неделей, пересаживаясь, как только подворачивался случай. Она пересела сначала к Анне, потом к Зое и так, исподволь, достигла своей цели.

Я все понял в первый день весны, посреди двора, увидев красивые волосы Элизабет, падавшие ей на плечи, и ее голубые глаза, устремленные на Маркеса, который одерживал очередную победу в баскетболе. Позже я увидел, как ее ладонка оказалась в его руке, и сжал кулаки так, что ногти глубоко впились в кожу. И в то же время при виде ее, такой счастливой, со мной творилось странное, как будто что-то разлилось в груди. Наверно, любовь — это грустно и прекрасно.

Ив подсел ко мне на скамейку.

— Что это ты сидишь здесь один, почему не играешь со всеми?

— Я думаю.

— О чем?

— О том, зачем это надо — любить.

— Не уверен, что именно я смогу ответить на твой вопрос.

— Это ничего, я тоже не уверен, что именно мне стоит его задавать.

— Ты влюблен?

— Все кончено, женщина моей жизни любит другого.

Ив прикусил губу, и меня это разозлило. Я хотел было встать, но он удержал меня за руку.

— Подожди, мы не закончили наш разговор.

— О чем нам говорить?

— О ней, о чем же еще!

— Мне ничего не светило, я это знал, но все равно полюбил и ничего не мог с собой поделать.

— Кто она?

— Та, что держит за руку здорового дылду, вон там, у баскетбольной корзины.

Ив посмотрел на Элизабет и кивнул:

— Я тебя понимаю, она красивая.

— Я для нее ростом не вышел.

— Не в росте дело. Тебе больно видеть ее с Маркесом?

— А вы как думаете?

— Не лучше ли, чтобы женщиной твоей жизни была та, что делает тебя счастливым?

Под таким углом я вопрос не рассматривал. Само собой, тут было о чем задуматься.

— Так может быть, вовсе не она женщина твоей жизни?

— Может быть, — ответил я со вздохом.

— А ты когда-нибудь пробовал составить список всего, чего тебе хочется?

Такой список я начал давно. Было время, я каждый год 22 декабря посылал его Деду Морозу, еще когда в него верил. Папа провожал меня к почтовому ящику в конце улицы и поднимал, чтобы я опустил конверт в щель. Я мог бы догадаться, что дело нечисто, ведь на конверте не было ни адреса, ни марки. Я мог бы догадаться, что папа однажды от нас уйдет. Начинаешь с маленькой лжи, а потом не остановиться. Да, я приступил к составлению этого списка в шесть лет и каждый год дополнял его и подправлял. Стать пожарным, ветеринаром, астронавтом, капитаном торгового флота, булочником, чтобы жить счастливо, как семья Люка, — всего этого мне хотелось. Иметь электрический поезд, модель самолета, пойти с папой в пиццерию в субботу, преуспеть в жизни и увезти маму далеко-далеко от городка, где мы живем. Подарить ей хороший дом, чтобы она жила там на старости лет и чтобы ей больше не приходилось работать, а то она возвращается такая усталая по вечерам, стереть с ее лица грусть, которую я читаю иногда в ее глазах, и у меня сводит живот, будто Маркес дал мне кулаком под дых.

— Я тебя попрошу, — продолжал Ив, — кое-что для меня сделать. Меня бы это очень порадовало.

Я посмотрел на него, ожидая продолжения: чем же я мог его порадовать?

— Ты можешь составить еще один список — для меня?

— Какой?

— Список того, что ты никогда не захочешь делать.

— Например?

— Ну не знаю, сам подумай. Что ты больше всего ненавидишь у взрослых?

— Когда они говорят: «Вырастешь — поймешь!»

— Ну вот, запиши в список, что ты ни за что не скажешь, когда станешь взрослым: «Вырастешь — поймешь!» Еще что-нибудь пришло в голову?

— Сказать сыну, что пойдешь с ним в субботу в пиццерию, и не сдержат обещания.

— Вот и добавь в список: «Не сдерживать обещаний, данных сыну». Теперь понял идею?

— Кажется, да.

— Когда список будет полным, выучи его наизусть.

— Зачем?

— Чтобы крепко запомнить!

С этими словами Ив дружески ткнул меня локтем в бок. Я обещал, что составлю этот список, как только смогу, и покажу ему, чтобы обсудить вместе.

— Знаешь, — добавил он, когда я уже поднялся, — с Элизабет у тебя, может быть, еще не все потеряно. Встреча двоих — это иногда еще и вопрос времени. Найти друг друга надо в подходящий момент.

Я попрощался с Ивом и пошел в класс.

Вечером у себя в комнате я взял листок бумаги, подложил его под тетрадь по математике и, когда мама ушла прибираться в кухне, начал свой новый список. Засыпая, я думал о разговоре с Ивом; для меня и Элизабет, боюсь, в этом году момент был неподходящий.

* * *

С самого начала учебного года меня осаждали вопросы. Чем старше становишься, тем их больше, самых разных. По поводу Элизабет я, кажется, нашел удовлетворительное объяснение, но что касается моей проблемы с тенями — тут был полный мрак. Почему это случилось именно со мной? Только ли я один могу с ними разговаривать? Что делать, если это снова случится, когда я с кем-нибудь пересекусь тенями?

Каждое утро перед уходом в школу я слушал прогноз погоды. Чтобы мама не удивлялась, я предложил

учителю естествознания сделать доклад о глобальном потеплении климата, и он очень обрадовался. Мама даже решила мне помочь и, если в газете появлялась статья по экологии, вырезала ее для меня. Вечером она мне ее читала вслух, и мы наклеивали вырезку в большую общую тетрадь — мама хотела купить тетрадь в супермаркете, но я уговорил ее пойти в писчебумажный магазин на церковной площади. Дама-синоптик обещала полнолуние в конце недели, в ночь с субботы на воскресенье.

Эта информация заставила меня глубоко задуматься. Действовать или не действовать, как сказал бы мой друг Люк, будь он родственником Гамлетова создателя.

С наступлением погожих дней я старался не стоять подолгу рядом с кем-нибудь из ребят, если двор был залит солнцем.

В то же время у меня появилось чувство, будто я упускаю что-то очень важное. А не для того ли Бог взорвал газовую цистерну в моей школе, чтобы подать мне знак, что-то вроде: «Я с тебя глаз не спускаю, ты думаешь, для того я наделил тебя этим даром, чтобы ты жил дальше как ни в чем не бывало?»

В тот четверг я думал обо всем этом, когда Ив подсел ко мне на скамейку, где я любил сидеть и размышлять.

— Ну как твой альбом, дело продвигается?

— Времени сейчас мало, я готовлю доклад.

Тень Ива лежала совсем рядом с моей.

— А я сделал то, что ты мне тогда посоветовал.

Я начисто забыл, что советовал Иву.

— Я переписал мамино письмо, как помню, не слово в слово, но главное сумел воспроизвести. Знаешь, это была хорошая мысль. Почерк, конечно, не ее, но я его перечитываю почти с теми же чувствами.

— А что ваша мама писала вам в том письме? Или это нескромный вопрос?

Ив помолчал, прежде чем ответить, и тихо сказал:

— Что она меня любит.

— А, немного вам пришлось переписывать.

Я наклонился к нему, потому что говорил он почти шепотом, и сам не заметил, как наши тени пересеклись. То, что открылось мне после этого, ошеломило меня.

Письма от мамы не существовало. На страницах альбома, сгоревшего в сторожке, были только его письма, которые он писал ей всю жизнь. Мама Ива умерла, рожая его, — задолго до того, как он научился читать.

У меня на глаза навернулись слезы. Не из-за преждевременной смерти его мамы, а из-за его лжи.

Представьте, как плохо должно быть человеку, если он выдумал переписку с матерью, которой никогда не знал! Его жизнь была как бездонный колодец, колодец печали, который невозможно заполнить, и Ив только и смог, что накрыть его крышкой из несуществующего письма.

Все это нашептала мне на ухо его тень.

Я сказал, что мне надо подготовиться к уроку, извинился, поклявшись прийти на следующей перемене, и убежал со всех ног. Добежав до галереи, я почувствовал себя трусом. Мне было стыдно весь урок мадам Шеффер, но я так и не нашел в себе сил вернуться к моему другу сторожу, как обещал.

* * *

Дома мама сообщила мне, что вечером по телевизору покажут документальный фильм о вырубке лесов Амазонки. Она приготовила поднос с ужином, чтобы поесть на диване в гостиной. Усадив меня перед телевизором, принесла мне тетрадь и карандаш и сама села рядом. С ума сойти, сколько животных обречены

на бегство и вымирание только потому, что люди любят деньги до потери разума!

Пока мы наблюдали, не в силах ничем помочь, за гибелью бразильских ленивцев — эти животные были мне чем-то очень близки, — мама разрезала курицу. В середине передачи я посмотрел на куриные косточки и пообещал себе, что стану вегетарианцем, как только смогу.

Комментатор на экране объяснял принцип эвапотранспирации — это оказалось довольно просто. Земля под деревьями потеет, как мы под волосами. Пот планеты, испаряясь, поднимается вверх и образует облака. Когда они разбухают, идет дождь, дающий воду, необходимую деревьям, чтобы расти и размножаться. Надо признать, система в целом неплохо продуманная. Естественно, если земля будет продолжать лысеть, пота не станет, а значит, не станет и облаков. Представьте, каково будет жить в мире без облаков, особенно мне! Жизнь порой шутит с нами шутки. Я придумал доклад для отвода глаз, даже не подозревая, как близко затрагивает меня эта тема.

Мама уснула; я прибавил звук телевизора для проверки — она спала крепко. Опять у нее выдался утомительный день. Мне было тяжело видеть ее в таком состоянии. Тем более не стоило ее будить. Я убавил звук и тихонько поднялся на чердак.

Так же, как в прошлый раз, я встал прямо, спиной к окну, сжав кулаки. Мое сердце отбивало сто десять ударов в минуту — от страха.

Ровно в 22 часа появилась тень; сначала едва заметная, не толще карандашного штриха на полу чердака, она постепенно сгущалась. Я стоял оцепенев — и хотел бы что-то сделать, но не мог шевельнуть и пальцем. Моей тени бы тоже лежать неподвижно, но она зашевелилась, подняла руки, тогда как мои были опущены. Голова тени склонилась вправо, влево, повернулась в профиль и, хотите верьте, хотите нет, показала мне язык.

Да! Можно бояться и смеяться одновременно, не думайте, что это несовместимо. Тень вытянулась под моими ногами и причудливо изломалась на разбросанных по полу картонках. Она скользнула между чемоданами, и ее рука легла на какую-то коробку — как будто тень оперлась на нее.

— Ты чья? — прошептал я.

— Твоя, чья же еще, по-твоему? Я твоя тень.

— Докажи!

— Открой эту коробку, сам увидишь. Я приготовила для тебя подарочек.

Я сделал три шага вперед, тень отступила.

— Не верхнюю, ее ты уже открывал, возьми ту, что под ней.

Я повиновался. Положил на пол первую коробку и открыл крышку второй. Она была полна фотографий, которых я раньше никогда не видел: на них был я в день моего рождения. Я походил на большой сморщенный огурец, только не такой зеленый и с глазами. Не сказать, чтобы я обрадовался подарку: я не понравился себе на этих снимках.

— Посмотри следующую фотографию! — велела тень.

Отец держал меня на руках, прижимая к себе, его глаза были устремлены на меня, и он улыбался — такой улыбки я никогда у него не видел. Я подошел к окну, чтобы лучше рассмотреть его лицо. Его глаза сияли тем же светом, что и в день свадьбы с мамой.

— Вот видишь, — прошелестела тень, — он любил тебя с первых минут твоей жизни. Он, наверно, никогда не находил слов, чтобы это выразить, но ведь этот снимок стоит всех красивых фраз, которые тебе хотелось услышать.

Я все смотрел и смотрел на фотографию, было до чертиков приятно видеть себя на руках у отца. Я спрятал ее в карман пижамной куртки, чтобы не расставаться.

— А теперь сядь, — сказала тень, — надо поговорить.

Я сел на пол по-турецки. Тень уселась в той же позе напротив меня, мне показалось, что она повернулась ко мне спиной, но это была лишь игра лунного луча.

— У тебя редкий дар, и ты должен им пользоваться, хоть он тебя и пугает.

— Зачем?

— Ты ведь счастлив, что увидел этот снимок, правда?

Я не знаю, можно ли назвать это «счастлив», но фотография папы, держащего меня на руках, принесла мне покой. Я пожал плечами. Если он не давал о себе знать после ухода, значит, наверно, просто не мог. Такая любовь не может исчезнуть без следа за несколько месяцев. Он конечно же еще меня любит.

— Именно так, — продолжала тень, как будто читая мои мысли. — Найди для каждого, чью тень ты похищаешь, немного света, который озарит их жизнь, маленький кусочек их скрытой памяти, — это все, о чем мы тебя просим.

— Мы?

— Мы, тени, — шепнула та, к кому я обращался.

— Ты действительно моя? — спросил я.

— Твоя, Ива, Люка или Маркеса — какая разница? Скажем так, я уполномоченная, вроде старосты класса.

Я улыбнулся: мне было понятно, что она имеет в виду.

Чья-то рука легла на мое плечо, и я вскрикнул. Обернувшись, я увидел перед собой мамино лицо.

— Ты разговариваешь со своей тенью, милый?

На короткий миг я понадеялся, что она все поняла и знает, что со мной произошло, но она смотрела на меня с умильным и сокрушенным видом. Нет, ей не дано знать такие вещи. Она просто слышала мой голос на чердаке, а я-то на сей раз чуть было не угодил к психологу.

Мама обняла меня и крепко-крепко прижала к себе.

— Тебе так одиноко? — спросила она.

— Нет, честное слово, нет, — ответил я, чтобы успокоить ее, — я просто играл.

Мама на коленях подползла к слуховому окну, приблизила лицо к стеклу.

— Красивый вид отсюда. Я так давно не поднималась на чердак. Иди сюда, сядь со мной и расскажи, о чем ты говорил с твоей тенью.

Обернувшись, я увидел мамину тень на полу рядом с моей. И тогда я в свою очередь крепко обнял маму и отдал ей всю любовь, какую только мог.

«Он ушел не из-за тебя, милый. Он полюбил другую женщину... и я ничего не могла поделать».

Какой ребенок был бы рад услышать от матери такое признание? Мама мне этого и не сказала, мне шепнула это мамина тень, там, на чердаке. Думаю, ее тень хотела, чтобы я не винил себя в уходе папы.

Я понял, чего ждали от меня тени, и теперь это был лишь вопрос воображения, а мама всегда говорила, что его у меня в избытке. Наклонившись к маме, я тихонько попросил ее оказать мне маленькую услугу.

— Ты напишешь мне письмо?

— Письмо? Какое письмо? — удивилась мама.

— Представь себе: когда я был у тебя в животе, вдруг ты захотела бы мне сказать, что любишь меня. Как бы ты это сделала, пока мы еще не могли разговаривать?

— Но я все время говорила тебе это, пока ждала тебя.

— Да, но я-то не мог услышать.

— Говорят, что ребенок все слышит в животе у матери.

— Не знаю, кто это выдумал, я, во всяком случае, ничего не помню.

Мама как-то странно посмотрела на меня.

— К чему ты клонишь?

— Представь, будто, чтобы рассказать мне, что ты чувствовала и чтобы я это запомнил, тебе пришла бы идея написать мне письмо, которое я должен буду прочесть после рождения, много позже. В этом письме ты, например, могла пожелать мне много всего или дать два-три совета, как быть счастливым, когда я вырасту.

— И ты хочешь, чтобы я написала тебе это письмо сейчас?

— Да, именно этого я хочу, но представь, что ты еще только ждешь меня. Ты уже называла меня по имени, когда я был у тебя в животе?

— Нет, мы ведь не знали, мальчик ты или девочка. Мы выбрали имя в день, когда ты родился.

— Тогда пиши без имени, так даже правдоподобнее.

— И откуда только у тебя такие мысли? — вздохнула мама и поцеловала меня.

— У меня ведь богатое воображение! Так ты сделаешь, что я прошу?

— Ладно, напишу тебе это письмо, сегодня же начну. А теперь иди, тебе давно пора спать.

Я лег с надеждой, что мой план сработает до конца. Если мама сдержит свое обещание, первую партию можно считать выигранной.

Рано утром, открыв глаза, я увидел мамино письмо на тумбочке у кровати, а к лампе была прислонена фотография отца. Впервые за полгода мы снова собрались все втроем в моей комнате.

Мамино письмо оказалось лучшим письмом в мире. Я знал, что оно адресовано мне и останется моим навсегда. Но я должен был выполнить важную миссию и для этого кое с кем его разделить. Мама наверняка поняла бы меня, посвяти я ее в свою тайну.

Я спрятал письмо в ранец и по дороге в школу зашел в книжный магазин. Там я истратил свои недельные сбережения на листок очень красивой бумаги, дал продавцу мамино письмо, и мы сделали копию на его новеньком ксероксе. Подделка вышла почти идеальной, как будто это были мамино письмо и его тень. Подлинник я все-таки оставил себе.

На большой перемене, покружив вокруг мусорных баков, я нашел то, что искал: уцелевшую обугленную деревяшку из сторожки Ива. На ней было достаточно сажу для выполнения второй части моего плана.

Я завернул ее в салфетку, которую стащил из столовой, и спрятал в ранец.

На уроке истории мадам Анри, пока Клеопатра морочила голову Юлию Цезарю, я тайком достал под партой обугленную деревяшку и дубликат письма и принялся размазывать сажу по бумаге, где полоской, где пятнышком. Мадам Анри, видно заметив, что я делаю, прервала Клеопатру на полуслове и подошла ко мне. Я скомкал листок и поспешно выхватил из пенала карандаш.

— Я могу узнать, в чем это у тебя руки? — спросила она.

— У меня ручка течет, мадам, — без колебаний ответил я.

— Очень странно, ручка у тебя синяя, а ты весь в черных пятнах. Когда раздобудешь нормальную ручку, напишешь мне сто раз: «На уроках истории не рисуют». А теперь иди вымой руки и лицо и немедленно возвращайся.

Одноклассники держались за бока от хохота, пока я шел к двери. Да уж, хороша школьная дружба!

Посмотревшись в зеркало в туалете, я понял, как попался. Наверно, я, сам того не заметив, провел рукой по лбу и теперь походил на угольщика.

Вернувшись за парту, я расправил листок, опасаясь, что вся работа пошла насмарку. Но нет, наоборот, смятый, он выглядел именно так, как я хотел. До звонка оставалось чуть-чуть, и совсем скоро мне предстояло выполнить третью, и последнюю, часть моего плана.

* * *

Назавтра моего письма не оказалось под деревяшкой среди развалин сторожки, где я его нарочно плохо спрятал. Я надеялся, что мой план сработал.

Но мне пришлось потерпеть еще неделю, чтобы получить этому подтверждение.

* * *

В следующий вторник, когда я разговаривал с Люком на моей любимой скамейке, к нам подошел Ив и спросил моего друга, не оставит ли он нас одних. Сев на его место, Ив довольно долго молчал.

— Я подал мадам директрисе заявление, — сказал он наконец, — и в конце недели уйду. Хотел сам тебе об этом сообщить.

— Вы уходите? Почему?

— Это долгая история. В моем возрасте пора уже расстаться со школой, правда? Скажем так, все эти годы я жил в прошлом, пленником моего детства. Теперь я свободен. Мне надо многое наверстать, построить настоящую жизнь и быть наконец счастливым.

— Понимаю, — тихо ответил я. — Я буду скучать, мне нравилось дружить с вами.

— Я тоже буду по тебе скучать, может быть, когда-нибудь еще свидимся.

— Может быть. Что вы собираетесь делать?

— Попытаю где-нибудь счастья. Хочу осуществить одну давнюю мечту и сдержать одно обещание. Хочешь, скажу тебе, что это, только никому ни слова? Клянешься?

— Клянусь! — Я сплюнул на землю.

Ив прошептал мне свой секрет на ушко, но это секрет, так что молчок. Я умею держать слово.

Мы пожали друг другу руки и решили, что лучше проститься сейчас. В пятницу будет слишком грустно, а так у нас есть несколько дней, чтобы привыкнуть к мысли, что мы больше не увидимся.

Дома я поднялся на чердак и перечитал мамино письмо. Может быть, главным было то место, где она писала, что ее самое большое желание — чтобы я вырос настоящим человеком, чтобы нашел профессию, которая сделает меня счастливым; а может быть, вот эта фраза: «Лишь бы ты любил и был любим, тогда, знай, ты оправдаешь все надежды, которые я на тебя возлагала».

Да, наверно, эти строки освободили Ива от цепей, приковывавших его к детству.

Какое-то время я жалел, что поделился с ним маминым письмом. Это стоило мне друга.

Директриса и учителя устроили Иву маленький праздник на прощание. Торжество состоялось в столовой. Ив оказался куда популярнее, чем я думал, родители всех учеников пришли с ним проститься, и его это, кажется, очень тронуло. Я попросил маму: «Давай уйдем». Отъезд Ива мне хотелось пережить в одиночку.

Вечер был безлунный, лезть на чердак не имело смысла. Но, засыпая, из складок занавески в моей комнате я услышал шепот тени Ива: «Спасибо».

* * *

С тех пор как Ив уехал, я больше не ходил к развалинам сторожки. Я понял, что у мест тоже есть тени. Воспоминания витают там и навевают тоску, если подойти слишком близко. Расстаться с другом нелегко. Правда, сменив школу, я бы должен был с этим свыкнуться, а нет, каждый раз одно и то же, какая-то часть тебя уходит с тем, кого ты потерял, ведь дружба — это как любовь. Лучше ни к кому не привязываться, слишком это рискованно.

Люк видел, что я хандрю. Каждый вечер, когда мы вдвоем возвращались из школы, он приглашал меня зайти. Мы вместе делали уроки, вознаграждая себя кофейным эклером между задачами по математике и повторением материала по истории.

Кончилась четверть. Теперь я всегда внимательно смотрел, куда ступаю: мне надо было набраться сил, прежде чем снова пустить в ход мой дар. Я хотел научиться правильно его использовать.

Подходил к концу июнь. До самых каникул мне удалось сохранить свою тень при себе.

Мама не пришла на церемонию вручения наград, она в тот день дежурила, никто из коллег не смог ее подменить, и она очень расстроилась. Но я сам сказал ей, что в этом нет ничего страшного, на будущий год тоже будет церемония, и уж тогда она как-нибудь сумеет освободиться.

Поднимаясь на сцену, я искоса поглядывал на трибуну, где сидели родители, в надежде увидеть отца: вдруг он там, среди других отцов, хочет сделать мне сюрприз? Но он тоже, наверно, дежурил. Не везет моим родителям, и мне не за что на них обижаться, это не их вина.

Радость от раздачи наград в конце года — это и есть конец года. Два месяца не видеть, как Элизабет с Маркесом по-идиотски воркуют во дворе под каштаном, — это называется лето, самое лучшее время года.

2

Чем хорошо жить в нашем городке — не надо далеко ездить на каникулы. Есть пруд, чтобы купаться, лес, чтобы гулять, — все рядом. Люк тоже никуда не уехал, его родители не могли закрыть булочную. Людям тогда пришлось бы покупать хлеб в супермаркете, а мама Люка говорит, что дурную привычку приобрести легко, зато избавиться от нее ох как трудно.

В конце июля произошло потрясающее событие. У Люка появилась сестренка. Она так потешно дрыгала ножками в колыбельке! Люк стал совсем другим после рождения сестренки, не таким беспечным, как был; он готовился к роли старшего брата и чаще говорил о том, что собирается делать после школы. Мне бы тоже хотелось иметь сестренку или братика.

В августе маме дали десять дней отпуска. Она одолжила у подруги машину, и мы отправились к морю. К морю я ехал второй раз в жизни.

Море никогда не стареет, пляж был такой же, как и в прошлый раз.

Там, в маленьком городке на берегу большого моря, я встретил Клеа. Девочку гораздо красивее Элизабет. Клеа глухонемая от рождения, лучшей подруги для меня не придумаешь, и мы сразу поладили.

Вероятно, чтобы как-то компенсировать глухоту, Бог дал Клеа большие глаза, просто огромные, и в них сосредоточилась вся красота ее лица. Она не слышит, зато видит абсолютно все, ни одной мелочи не упустит. На самом деле Клеа не совсем немая, голосовые связки у нее здоровые, просто она никогда не слышала слов и поэтому не умеет их произносить. Все логично. Когда она пытается что-то сказать, хриплые звуки, вырывающиеся из ее горла, поначалу немного пугают, но стоит ей засмеяться — другое дело, ее смех похож на музыку виолончели, а я обожаю виолончель. Клеа ничего не говорит, но не думайте, что она глупее своих сверстниц. Наоборот, она знает наизусть много стихов и читает их руками. Клеа изъясняется жестами. У моей глухонемой подруги характер — ого-го! Чтобы сказать, что ей хочется, например, кока-колы, она удивительно ловко и стремительно показывает это руками, и родители сразу догадываются, что ей нужно. Я выучил, как на языке жестов будет «нет», когда она спросила, можно ли нам по второму мороженому.

Я купил в пляжном магазинчике открытку, чтобы написать отцу. Заполнил левую половину, стараясь писать помельче, места-то мало, но над строчками с правой стороны мой карандаш завис — и я вместе с ним.

Адреса у меня не было. Я сообразил, что не знаю, где живет мой отец, — это нелегко было переварить... В голову пришли слова Ива, сказанные на скамейке во дворе, — что у меня все впереди. Сидя на песке, я видел впереди только чаек, ныряющих в воду за рыбой, и вспоминал рыбалки с папой.

Жизнь может перевернуться в одночасье. Все из рук вон плохо — и вдруг непредвиденное событие круто меняет ход вещей. Мне хотелось другой жизни, у меня не было ни брата, ни сестры, но я, как и Люк, задумался о будущем. В то лето, во время каникул у моря с мамой, моя жизнь пошла по новой колее.

Встретив Клеа, я понял, что все теперь будет иначе. В школе одноклассники позеленеют от зависти, когда узнают, что у меня есть глухонемая подруга, и я заранее радовался, представляя себе, какое лицо будет у Элизабет.

Клеа пишет пальцем в воздухе слова — этакая летучая поэзия. Элизабет ей и в подметки не годится. Мой папа говорил, что никогда не надо сравнивать людей, ведь каждый человек ни на кого не похож, главное — найти непохожесть, лучше всего подходящую именно тебе. Клеа была моей непохожестью.

Назавтра после нашего приезда, в ясное солнечное утро, Клеа подошла ко мне, когда мы гуляли в порту. Никогда еще мы с ней не стояли так близко. Наши тени на дамбе соприкоснулись, я испугался и отпрянул. Клеа не поняла, почему я это сделал. Она посмотрела на меня долгим взглядом, и я увидел в ее глазах боль, потом повернулась и убежала. Я звал ее что было мочи, но она даже не оглянулась. Ну и дурак же я, она ведь не могла меня услышать! А я мечтал взять ее за руку с первых минут нашей встречи. Вдвоем у моря мы выглядели бы куда лучше, чем Элизабет и Маркес под чахлым каштаном на школьном дворе. Я отступил лишь потому, что ни за что на свете не хотел украсть ее тень. Да, я не хотел знать о ней ничего, кроме того, что она сама скажет мне руками. Но Клеа не могла об этом догадаться, и мое невольное движение ранило ее.

Весь вечер я думал, как бы выпросить у нее прощение и помириться.

Взвесив все «за» и «против», я убедился, что есть лишь один способ загладить причиненное зло: сказать ей правду. Разделить мою тайну с Клеа — на мой взгляд, это был единственный выход, если я действительно хотел, чтобы мы лучше узнали друг друга. Какая может быть дружба, если не можешь человеку довериться?

Оставалось придумать, как открыть ей секрет. Языком глухонемых я владел еще слабо и вряд ли смог бы рассказать жестами такую историю.

Назавтра с утра было пасмурно. Опустившись на колени у края дамбы, Клеа пускала по воде плоские камешки. Ее мама, на радостях, что у дочки появился друг, показала мне ее излюбленное место, куда она уходила каждое утро. Я подошел и сел рядом с ней. Мы долго смотрели, как разбиваются о берег волны. Клеа не обращала на меня внимания, будто меня здесь и не было. Собрав все силы, я протянул руку в надежде коснуться ее, но она вскочила и запрыгала с камня на камень, быстро удаляясь. Я последовал за ней, обогнал и показал пальцем на наши вытянувшиеся на дамбе тени. Жестом попросив ее не двигаться, шагнул — и моя тень накрыла ее. Я отступил, и глаза Клеа стали еще больше. Она сразу поняла, что произошло. Немудрено для мало-мальски наблюдательного человека: у тени передо мной были длинные волосы, у тени перед ней — короткие. Я заткнул уши, надеясь, что ее тень так же нема, как хозяйка, но все же успел услышать ее шепот: «На помощь, помоги мне». Я присел, крикнул: «Замолчи, умоляю, замолчи!» — и поспешно наклонился, чтобы наши тени снова пересеклись.

Клеа нарисовала в воздухе большой вопросительный знак. Я пожал плечами и на этот раз ушел сам. Клеа побежала следом, и я, испугавшись, что она поскользнется на камнях, замедлил шаг. Она взяла меня за руку, давая понять, что хочет разделить со мной тайну. Чтобы мы были квиты.

В самом конце дамбы есть маяк, совсем маленький. Он стоит там так одиноко, что кажется, будто родители его бросили и он перестал расти. Его фонарь давно погас и больше не освещает море.

Этот старый заброшенный маяк в конце дамбы и есть тайное убежище Клеа. С тех пор как она показала его мне, мы приходим туда каждый день. Пробравшись под цепью, на которой висит ржавая табличка с надписью «Вход воспрещен», мы толкаем железную дверь, замок которой, разъеденный солью, приказал долго жить, и карабкаемся по лесенке на смотровую площадку. Клеа поднимается первой, и мы сидим часами под куполом, вглядываясь в горизонт и высматривая корабли. Легким движением левой руки Клеа рисует волны, а правая колышется, изображая проплывающие вдали паруса. Когда день клонится к закату, она сводит большие и указательные пальцы в круг: солнце ее рук встает за моей спиной, и ее смех звуками виолончели гулко отдается от стен.

Когда вечером мама спрашивает меня, где я провел день, я называю место на пляже в противоположной стороне от маяка — он принадлежит только нам с Клеа, этот малыш-маячок, заброшенный маяк, который мы как будто усыновили.

На третий день Клеа не захотела подниматься под купол, а осталась сидеть у подножия маяка, и по ее хмурому лицу я понял, что она чего-то от меня ждет. Она достала из кармана блокнотик и протянула мне, написав:

«Как ты это делаешь?»

Я ответил ей на том же листке:

«Что делаю?»

«Твой фокус с тенями», — написала Клеа.

«Понятия не имею, так вышло само собой, я бы прекрасно без этого обошелся».

Карандаш прошуршал по бумаге, Клеа зачеркнула строчку, внезапно передумав. Под чертой я все же прочел: «Ты спятил», но ниже она написала другое:

«Повезло тебе. А тени с тобой разговаривают?»

Как она сумела догадаться? Я просто не мог ей солгать.

«Да!»

«А моя тень немая?»

«Нет, вряд ли».

«Вряд ли или точно?»

«Она не немая».

«Правильно, я ведь тоже не немая в голове. Ты хочешь поговорить с моей тенью?»

«Нет, я лучше поговорю с тобой».

«Что она тебе сказала?»

«Ничего особенного, разговор был очень короткий».

«У моей тени красивый голос?»

Я не сразу понял, как важен был для Клеа этот вопрос. Все равно что слепой спросил бы меня, как выглядит его отражение в зеркале. Непохожесть Клеа была в ее немоте, это делало ее единственной в моих глазах, но сама Клеа мечтала походить на любую девочку своего возраста, имеющую возможность изъясняться не только жестами. Знала бы она, как хороша ее непохожесть.

Я взял карандаш.

«Да, Клеа, голос у твоей тени чистый, нежный и мелодичный. Совсем как ты».

Я покраснел, написав эти строчки, и Клеа, прочитав их, покраснела тоже.

«Почему ты грустишь?» — спросила она.

«Потому что каникулы скоро кончатся, и я буду по тебе скучать».

«У нас еще целая неделя впереди, и потом, если ты приедешь на следующий год, будешь знать, где меня найти».

«Да, у маяка».

«Я буду ждать тебя здесь с первого дня каникул».

«Обещаешь?»

Клеа нарисовала руками обещание. Получилось куда красивее, чем словами.

Сквозь облака проглянуло солнце, Клеа подняла голову и написала в блокноте:

«Я хочу, чтобы ты еще раз наступил на мою тень и рассказал мне, что она тебе скажет».

Я колебался, но мне хотелось сделать ей приятное, и я подвинулся к ней. Клеа положила руки мне на плечи и приблизилась вплотную. Мое сердце забилось так неистово, что я позабыл о тенях и видел только огромные глаза Клеа у самого моего лица. Наши носы соприкоснулись, Клеа выплюнула жевательную резинку, ноги у меня стали ватные, казалось, я вот-вот потеряю сознание.

Я слышал в одном фильме, что у поцелуев вкус меда, но мой с Клеа поцелуй имел вкус клубничной жевательной резинки, которую она выплюнула перед тем, как наши губы встретились. Слыша, как колотится в груди сердце, я подумал, что от поцелуев, возможно, умирают. И все же мне хотелось еще, но Клеа отодвинулась. Она смотрела мне прямо в глаза. Улыбнувшись, она написала на листке бумаги:

«Ты мой похититель тени, где бы ты ни был, я всегда буду думать о тебе», — и убежала.

Вот как круто может повернуть жизнь в августе. Достаточно встретить такую вот Клеа, чтобы ни одно утро больше не было прежним, все стало другим, а от одиночества не осталось и следа.

Вечером после моего первого поцелуя мне захотелось написать Люку о том, что со мной произошло. Может быть, просто чтобы продлить это мгновение. Рассказать о Клеа значило еще немного побыть с ней. Я написал — и порвал письмо на мелкие кусочки.

На следующий день Клеа у маяка не было. Я раз десять прошелся взад-вперед по дамбе, поджидая ее. Мне стало страшно: вдруг она упала в воду? Опасное дело — к кому-то привязываться. С ума сойти, до чего от этого бывает больно. Больно от одного лишь страха потерять. С папой у меня не было выбора, отцов не выбирают, и что я мог поделать, если он однажды решил оставить меня, но Клеа — другое дело. С ней все было иначе. Я не находил себе места, как вдруг услышал вдали мелодию виолончели. Клеа была на набережной, вместе с родителями, у киоска с мороженым. Ее отец уронил пломбир на рубашку, и Клеа заливалась смехом. Я не знал, что мне делать, остаться или бежать к ней. Мама Клеа помахала мне рукой. Я помахал в ответ и ушел в противоположном направлении.

Скверный выдался день; я ждал Клеа, не понимая, почему мне так грустно. Дамбу, где мы гуляли еще вчера, хлестали волны. В одиночестве мне стало тоскливо, хоть волком вой. Должно быть, мне нынче встретишься худшая из теней, тень отсутствия, и в ее обществе я чувствовал себя отвратительно. Не надо было мне доверять Клеа и открывать ей мой секрет. Лучше бы вообще ее не встречать. Всего несколько дней назад я в ней не нуждался, в моей жизни все шло своим чередом, без особых радостей, но хоть жить было можно. Теперь, без Клеа, все вокруг словно рухнуло. Как же тяжело ждать от кого-то знака, чтобы почувствовать себя счастливым. Я ушел с дамбы и направился к пляжному магазинчику. Мне хотелось написать отцу; я стащил с вертящейся стойки большую открытку и устроился за столиком в кафе. Народу в этот час было немного, официант ничего не сказал.

Папа,

пишу тебе с моря, мы с мамой приехали сюда на несколько дней каникул. Я бы хотел, чтобы ты был с нами, но ничего не поделаешь. Мне бы получить от тебя весточку, знать, что у тебя все хорошо. У меня — по-всякому. Будь ты здесь, я рассказал бы тебе, что со мной происходит, и, думаю, мне бы это пошло на пользу. Ты дал бы мне совет. Люк говорит, что отец загрузил его своими советами, а вот мне их очень не хватает.

Мама говорит, что нетерпение убивает детство, а я так хочу скорее вырасти, папа, быть свободным, уехать куда вздумается, подальше от мест, где мне нехорошо. Когда я буду взрослым, я разыщу тебя, где бы ты ни был.

Если до тех пор мы не увидимся, у нас так много накопится сказать друг другу, что понадобится сто обедов или хотя бы неделя каникул вдвоем. Было бы здорово провести столько времени вместе. Я

догадываюсь, что это, наверно, очень сложно, хоть и не знаю почему. Каждый раз, когда я думаю об этом, у меня возникает еще один вопрос: почему ты мне не пишешь? Ты-то знаешь, где я живу. Может быть, ты ответишь на эту открытку, может быть, я найду письмо от тебя, когда вернусь домой, а может быть, ты за мной приедешь?

Как мне надоели эти «может быть»!

Твой все равно любящий тебя сын.

Я дошагал до почтового ящика. Ну и пусть я не знаю, где живет мой отец. Как когда-то на Рождество, я отправил письмо без марки и без адреса.

* * *

На одном из прилавков на пляже висел красивый воздушный змей из гофрированной бумаги в форме орла. Я сказал продавцу, что мама заплатит ему позже. Мое лицо, видно, внушает доверие, и я ушел с воздушным змеем под мышкой.

Сорок метров шпагата — так было написано на упаковке. С сорокаметровой высоты, наверно, виден весь городок: и церковь с колокольней, и главная улица, и карусель на площади, и дорога, убегающая в поля. А если выпустить шпагат из рук, можно увидеть и всю страну, с попутным ветром облететь вокруг Земли и разглядеть с высоты тех, кого вам не хватает. Хотел бы я быть воздушным змеем.

Мой орел шел вверх, катушка еще не до конца размоталась, но он гордо парил в небесах. Его тень дрожала на песке, но тени от воздушных змеев неживые, это просто пятна. Когда игра мне наскучила, я подтянул мою птицу к себе, сложил ей крылья, и мы пошли домой. В гостинице я начал было искать, куда бы его спрятать, но передумал.

Досталось мне на орехи, когда я показал маме ее будто бы подарок. Она пригрозила выбросить его на помойку, но потом остановилась на еще более жестоком варианте: заставить меня вернуть змея продавцу и найти слова, чтобы выпросить прощение за свой, цитирую, непростительный поступок. Я испробовал обезоруживающе виноватую улыбку, но она маму не обезоружила. Пришлось лечь спать без ужина, но ничего страшного: когда я злюсь, мне не хочется есть.

* * *

Назавтра в половине одиннадцатого, припарковав машину напротив пляжного магазинчика, мама распахнула дверцу и бросила мне с угрожающим видом:

— Давай выходи быстро, ты знаешь, что надо делать!

Мои мучения начались сразу после завтрака. Пришлось сматывать нить, аккуратно, чтобы вернуть катушке первоначальный вид, складывать крылья моего орла и перевязывать их лентой, которую дала мне мама. Путь к магазинчику мы проделали в торжественном молчании. Затем последовало продолжение пытки: мне предстояло пройти по эспланаде до прилавка и вернуть змея продавцу, извинившись, что злоупотребил его доверием. Я зашагал, сутуля плечи, с воздушным змеем под мышкой.

Мама из машины видела картинку, но без звука. Я подошел к продавцу с видом мученика и сказал, что у мамы не хватает денег на мой день рождения, так что заплатить за орла она не может. Продавец возразил, что это не очень дорогой подарок. Я ответил на это, мол, моя мама так прижимиста, что слова «недорогой» для нее просто не существует. Мне очень жаль, добавил я, но змей совсем как новенький, он летал всего один раз, и то невысоко. В возмещение ущерба я предложил помочь ему убраться в магазине. Воззвал к его милосердию: ведь если я уйду, не решив проблему, то не получу подарка и на Рождество. Речь моя, должно быть, прозвучала убедительно: продавец проникся ко мне сочувствием. Он бросил сердитый взгляд на мою маму и, подмигнув, сказал, что с радостью подарит мне этого змея. Он даже хотел пойти сказать маме пару слов, но я его отговорил: это была плохая идея. Я несколько раз поблагодарил его и попросил пока оставить мой подарок у себя: я зайду за ним попозже. Потом я вернулся к машине и поклялся, что миссию свою выполнил. Мама разрешила мне пойти поиграть на пляже и уехала.

Нехорошо, конечно, что я наговорил о ней гадостей, но, с другой стороны, это была месть.

Как только ее машина скрылась, я по-быстрому забрал орла и побежал на пляж, где в это время был отлив.

Запускать змея, хрустя ракушками под ногами, — в этом есть что-то божественное.

Ветер был сильнее вчерашнего, и катушка разматывалась быстро. Резко дернув за шпагат, я исполнил первую фигуру — почти идеальную четверть восьмерки. Тень от змея скользила по песку далеко от меня. И вдруг я увидел совсем рядом другую тень, знакомую. Я чуть не выпустил орла. Справа от меня стояла Клеа.

Она положила свою ладонь на мою, но не для того, чтобы удержать меня за руку, — ей хотелось взяться за нить воздушного змея. Я доверил ей катушку: Клеа так неотразимо улыбалась, что ей было невозможно отказать ни в чем.

Должно быть, это была не первая ее попытка. Клеа управлялась со змеем так ловко, что дух захватывало. Ей запросто давались полные восьмерки и идеально ровные змейки. У Клеа был дар воздушной поэзии, она умела писать в небе буквы. Поняв наконец, что она делает, я прочел: «Я по тебе скучала». Девочка, которая пишет вам «Я по тебе скучала» воздушным змеем, — такое не забудется.

Клеа опустила змея, повернулась ко мне и села на мокрый песок. Наши тени сошлись. Тень Клеа наклонилась ко мне:

— Я не знаю, отчего мне больнее, от смешков за спиной или от сочувственных взглядов. Кто может привязаться к девочке, которая не умеет разговаривать, а вместо смеха вскрикивает? Кто успокоит меня, когда мне страшно? А мне уже так страшно, что я совсем ничего не слышу, даже в голове. Мне страшно вырасти, я одна, и мои дни похожи на бесконечные ночи, сквозь которые я иду, как автомат.

Ни одна девочка на свете не сказала бы такого мальчику, с которым едва знакома. Этих слов Клеа не произносила, их нашептала мне на пляже ее тень, и я наконец понял, почему она звала на помощь.

— Если бы ты знала, Клеа, что для меня ты самая красивая девочка на свете, что от твоих хриплых криков голубеет серое небо, что твой голос звучит как виолончель. Если бы ты знала, что ни одна девочка в мире не умеет запускать воздушного змея так, как ты.

Эти слова я прошептал тебе в спину, чтобы ты не услышала. Перед тобой я сам стал немым.

Мы встречались каждое утро на дамбе, Клеа заходила на пляж за моим змеем, и мы вместе бежали к заброшенному маяку, где и проводили весь день.

Я сочинял истории про пиратов. Клеа учила меня говорить руками, и я постигал поэзию этого языка, мало кому понятного. Привязанный к перилам башенки, наш орел взмывал все выше и кружил на ветру.

В полдень мы с Клеа, прислонясь к стене под фонарем, делили на двоих завтрак, приготовленный мамой. Мама знала — мы никогда не говорили об этом по вечерам, но она догадалась о дружбе, связавшей меня с девочкой, которая не разговаривает, как называли Клеа в городке. С ума сойти, до чего взрослые боятся слов. По мне, так «немая» звучит гораздо красивее.

Иногда после завтрака Клеа засыпала, положив голову мне на плечо. Это, наверно, было лучшее время дня, когда она всецело доверялась мне. Потрясающее чувство, когда вам кто-то доверяется. Глядя на нее, спящую, я думал, обретает ли она дар речи в снах, слышит ли свой чистый голос. Под вечер, расставаясь, мы каждый раз целовались. Шесть незабываемых дней.

* * *

Короткие каникулы подошли к концу, мама начала собирать чемодан, пока я завтракал. Скоро нам предстояло покинуть гостиничный номер. Я упрашивал остаться подольше, но маме пора было в обратный путь, чтобы не потерять работу. Она обещала, что мы снова приедем сюда в будущем году. За год столько всего может произойти.

Я пошел проститься с Клеа. Она ждала меня у маяка и, сразу поняв, почему у меня несчастное лицо, не захотела подниматься со мной наверх. Жестом она велела мне уходить и отвернулась. Я достал из кармана письмо, которое тайком написал накануне, — короткое письмецо, но в нем я открыл ей все мои мысли. Она его не взяла. Тогда я схватил ее за руку и потащил к пляжу.

Ногой я нарисовал на песке половину сердца и, свернув листок письма воронкой, воткнул его в середину рисунка. И ушел.

Я не знаю, передумала ли Клеа, закончила ли она мой рисунок на песке. Не знаю, прочла ли она мою записку.

* * *

На обратном пути мне вдруг захотелось, чтобы она ничего не читала, чтобы мое письмо унес прилив. Наверно, я застеснялся. Я писал, что каждое утро, просыпаясь, буду думать о ней, обещал, что, засыпая, буду видеть ее глаза, такие огромные в непроглядной ночи, как будто старенький маяк, гордый тем, что больше не одинок, вновь зажег свой фонарь. Все это, верно, выглядело неуклюже.

Мне оставалось наполнить копилку воспоминаний на год вперед, сделать запас счастливых минут на осень, когда тьма сгустится над дорогой в школу.

В классе я решил ничего не говорить: рассказывать о Клеа, чтобы позлить Элизабет, было мне уже неинтересно.

Мы больше не вернулись в этот курортный городок. Ни на будущий год, ни потом. Я больше ничего не знал о Клеа. Я думал было послать ей письмо до востребования: «Заброшенный маячок в конце дамбы». Но написать этот адрес уже значило бы выдать тайну.

Два года спустя я поцеловал Элизабет. У ее поцелуя не было вкуса меда, и клубники тоже, лишь легкий привкус реванша над Маркесом, с которым я к тому времени сравнялся ростом. Три года быть бессменным старостой класса — это, как-никак, приносит популярность.

На следующий день после того поцелуя мы с Элизабет расстались.

Я решил не выставлять свою кандидатуру, и вместо меня избрали Маркеса. Я охотно уступил ему свои функции. В политике я окончательно разочаровался.

Часть II

1

Страх темноты сменился страхом одиночества. Я не люблю спать один, а между тем живу в полном одиночестве в тесной квартирке под крышей многоэтажного дома неподалеку от медицинского факультета. Вчера мне исполнилось двадцать лет. Отметил я их, не успев ни с кем подружиться, — все из-за того же отставания в возрасте, что и в школе. Да и плотное расписание на факультете не оставило на это времени.

Мое детство два года назад осталось за каштаном на школьном дворе, в том маленьком городке, где я вырос.

В день вручения аттестатов мама сидела в зале — коллега подменила ее на работе ради такого случая. Я мог бы поклясться, что видел силуэт отца вдалеке, за оградой, но, возможно, мне просто почудилось, ведь у меня всегда было чересчур богатое воображение.

Мое детство осталось на дороге к дому, где струились по плечам осенние дожди, на чердаке, где я разговаривал с теньями и рассматривал фотографию родителей той поры, когда они еще любили друг друга.

Мое детство осталось на перроне вокзала, где я прощался с моим лучшим другом, сыном булочника, и обнимал маму, обещая, что буду приезжать к ней так часто, как только смогу.

На том перроне мама плакала. На этот раз даже не отворачиваясь. Я больше не был ребенком, которого она хотела оградить от всего, в том числе от своих слез, от этой печали, которая так и осталась с ней навсегда.

Высунувшись из окна вагона, когда состав тронулся, я увидел, как Люк взял ее за руку, утешая.

Все в жизни шло наперекос, в этом купе должен был ехать Люк, это ведь у него были большие способности к естественным наукам; и из нас двоих именно мне, а не ему, следовало остаться на перроне с медсестрой, посвятившей всю жизнь людям, и в первую очередь сыну.

* * *

Четвертый курс медицинского факультета. Мама вышла на пенсию и работает теперь в муниципальной библиотеке. По средам она играет с тремя подругами в белот.

Она пишет мне часто. Между лекциями и ночными дежурствами я не всегда успеваю ей отвечать. Дважды в год, осенью и весной, она приезжает меня навестить. Останавливается в маленьком отеле в двух шагах от университетской больницы и ходит по музеям, пока не закончится мой трудовой день.

Мы с ней гуляем вдоль реки. Во время этих прогулок она расспрашивает о моей жизни и дает тысячу советов о том, как стать врачом, любящим людей, — в ее глазах это не менее важно, чем быть хорошим врачом. Она их перевидала много за сорок лет работы и с первого взгляда отличает тех, для кого карьера превыше пациентов. Я слушаю молча. После прогулки я веду ее в ресторанчик, где ей нравится, и она всегда рвется сама заплатить за наш ужин. «Потом, когда ты будешь доктором, пригласишь меня в шикарный ресторан», — говорит она, отнимая у меня счет.

Черты ее изменились, но в глазах плещется все та же вечно молодая нежность. Родители стареют до определенного возраста, когда их образ застывает в нашей памяти. Достаточно закрыть глаза и подумать о них, чтобы увидеть их прежними, как будто наша любовь к ним способна остановить время.

Каждый раз, приезжая, она старается навести порядок в моей берлоге. После ее отъезда я нахожу в шкафу запас чистых рубашек, а на кровати свежие простыни, запах которых напоминает мне комнату моего детства.

Письмо, которое она когда-то написала по моей просьбе, и фотография, найденная на чердаке, всегда рядом со мной, на тумбочке у кровати.

Когда я провожаю ее на вокзал, у вагона она обнимает меня так крепко, что каждый раз мне становится страшно: вдруг мы больше не увидимся? Я смотрю вслед уходящему по езде, он мчится в городок, где я вырос, к моему детству, до которого от того места, где я живу теперь, шесть часов пути.

Через неделю после ее отъезда я всегда получаю письмо. Она рассказывает о поездке, о партиях в белот и о том, какие книги, по ее мнению, следует немедленно прочесть. Но я, увы, читаю только учебники по медицине, а по ночам повторяю материал, готовясь в интернатуру.

Я дежурю попеременно в отделении «Скорой помощи» и в педиатрии, и мои пациенты требуют много внимания. У меня хороший заведующий, профессор, которого все боятся: он готов накричать на любого из нас. За малейшую небрежность, за любую ошибку. Но он передает нам свои знания, а мы этого от него и ждем. Каждое утро, начиная обход, он не устает повторять нам, что медицина — не профессия, а призвание.

В обеденный перерыв я покупаю в кафетерии сэндвич и сажусь где-нибудь в саду у нашего корпуса. Иногда я встречаю там моих маленьких пациентов, тех, что выздоравливают. Они дышат воздухом в сопровождении своих родителей.

Вот там-то, у цветущего газона, моя жизнь круто повернулась во второй раз.

* * *

Я дремал на скамейке. Учеба на медицинском факультете — это постоянная борьба с недосыпанием. Рядом со мной села сокурсница, и я встряхнулся. Софи — девушка яркая и красивая, мы с ней приятельствуем и флиртуем уже давно, но я так и не могу подобрать названия нашим отношениям. Мы играем в дружбу, делая вид, будто не замечаем, как нас друг к другу тянет. Мы оба знаем, что у нас нет времени на настоящую связь. В это утро Софи в который уже раз заговорила о случае, очень ее беспокоившем. Десятилетний мальчик две недели не мог есть. Никакой патологии не было выявлено, пищеварительная система в порядке, однако любая съеденная пища тут же отторгалась. Мальчик лежал под капельницей, и его состояние ухудшалось день ото дня. Консультация трех психологов ничего не дала. Софи очень тревожил этот маленький больной, она ни о чем другом и думать не могла, все пыталась найти средство от его недуга. Мне же хотелось встретиться с ней по вечерам, как и раньше, каждую неделю — под предлогом совместных занятий, — и я

обещал посмотреть историю болезни и подумать над этим случаем. Как будто мы, простые экстерны, могли оказаться умнее всего медперсонала, трудившегося в больнице! Но разве ученики не мечтают превзойти своих учителей?

Софи говорила об ухудшении состояния мальчика, но тут мое внимание отвлекла маленькая девочка, игравшая в классики на аллее сада. Я всмотрелся и вдруг понял, что она не перепрыгивает из клетки в клетку, как положено по правилам. Ее игра была совсем другого рода. Девочка прыгала двумя ногами на свою тень, словно хотела ее обогнать.

Я спросил Софи, в состоянии ли ее маленький пациент передвигаться в кресле на колесах, и предложил вывезти его сюда. Софи предпочла бы, чтобы я сам поднялся к нему в палату, но я настаивал и попросил ее не терять времени. Солнце уже стояло над самой крышей главного здания, вот-вот собираясь скрыться за ней, а мне оно было нужно. Софи немного поворчала, но все же уступила.

Когда она ушла, я подзвал девочку и взял с нее обещание хранить секрет, который я ей доверю. Она внимательно меня выслушала — и согласилась на мое предложение.

Софи вернулась через четверть часа, катя перед собой кресло, к которому был привязан ремнями ее маленький больной. Бледность и впалые щеки говорили о том, как он слаб. Увидев его своими глазами, я лучше понял тревогу Софи. Она остановилась в нескольких метрах от меня, и я прочел в ее глазах безмолвный вопрос: «И что теперь?» Я попросил ее подкатить кресло к девочке. Софи послушалась и села рядом со мной на скамейку.

— Ты думаешь, одиннадцатилетняя девчушка его вылечит? Это твое чудодейственное средство?

— Дай ему время заинтересоваться ею.

— Она играет в классики. Какой ему в этом интерес? Ладно, хватит, я отвезу его в палату.

Я удержал Софи за руку.

— Несколько минут на свежем воздухе ему не повредят. Тебя, наверно, ждут другие пациенты, оставь этих двоих со мной, я пригляжу за ними, пока у меня перерыв. Не беспокойся, глаз с них не спущу.

Софи ушла в крыло педиатрии. Я подошел к детям, расстегнул ремни, которыми маленький больной был привязан к креслу, и на руках перенес его на газон. Сел на траву, посадив мальчика к себе на колени, спиной к последним лучам солнца. Девочка, как мы и договаривались, вернулась к своей игре.

— Что тебя так напугало, малыш, отчего ты чахнешь на глазах?

Он молча поднял на меня глаза. Его тень, совсем невесомая, слилась с моей. Мальчик откинулся у меня на руках, уперся головой мне в грудь. Я взмолился про себя, чтобы вернулась тень моего детства — как давно это было!

Ни один ребенок на свете не смог бы выдумать того, что я услышал. Не знаю кто, он или его тень, нашептал мне это — я отвык от такого рода откровений.

Я отнес маленького больного в кресло и позвал девочку, чтобы она побыла с ним до возвращения Софи, а сам снова сел на скамейку.

Когда Софи вернулась, я сказал ей, что чемпионка по классикам и ее пациент поладили. Ей даже удалось выпытать у него, что его так мучает, и она поделилась со мной. Софи озадаченно на меня посмотрела.

Мальчик привязался к кролику, пушистый зверек стал его любимцем, его лучшим другом. Но вдруг две недели назад кролик исчез, и в тот самый вечер, после ужина, мать спросила домашних, как им понравилось приготовленное ею рагу. Мальчик тут же сделал вывод: кролика нет в живых, его съели. С тех пор он был одержим одной мыслью: искупить свою вину и воссоединиться с маленьким другом там, где он теперь. Наверно, надо не раз подумать, прежде чем говорить детям, что умершие живут без них на небесах.

Я встал, оставив изумленную Софи на скамейке. Проблему я нашел, теперь надо было обмозговать, как ее решить.

В конце дежурства мне передали записку: Софи просила прийти к ней домой в любое время.

* * *

Я позвонил в ее дверь в шесть часов утра. Софи вышла с припухшими спросонья глазами в наброшенной мужской рубашке. Смотрелась она в этом наряде соблазнительно, хоть рубашка была и не моя.

На кухне она налила мне чашку кофе и спросила, как мне удалось преуспеть там, где потерпели неудачу три психолога.

Я напомнил ей, что у детей свой язык, который мы забыли, поэтому нам порой так нелегко их понять.

— И ты решил, что он откроется этой девчужке!

— Я надеялся, что нам улыбнется удача, ведь если есть хоть крошечный шанс, попробовать стоит, верно?

Тут Софи перебила меня, чтобы поймать на лжи. Девочка призналась ей, что играла в классики, а с маленьким пациентом был я.

— Ее слово против моего, — ответил я, улыбнувшись Софи.

— Странно, — сухо бросила она, — но я скорее склонна верить ей, чем тебе.

— Можно узнать, кто тебе подарил эту рубашку?

— Я купила ее на распродаже.

— Вот видишь, ты лжешь так же плохо, как я.

Софи встала и подошла к окну.

— Я позвонила вчера его родителям, они из деревни, им невдомек, что их сын привязался к кролику, тем более непонятно, почему именно к этому. Это выше их разумения. Для них все просто: кроликов выращивают, чтобы их есть.

— Спроси у них, что бы с ними было, заставь их кто-нибудь съесть их собаку.

— Нет смысла судить родителей, им и так худо. Мать постоянно плачет, да и отец сам не свой. У тебя есть идеи, как помочь их сыну выбраться из тупика?

— Возможно. Пусть найдут маленького кролика, такого же рыжего, и привезут его нам как можно скорее.

— Ты хочешь пронести кролика в больницу? Если узнает главврач, я тут ни при чем.

— Я тебя не выдам. А теперь можешь снять эту рубашку? Она мне не нравится.

* * *

Пока Софи принимала душ, я вздремнул на ее кровати — возвращаться домой не было сил. Ее дежурство начиналось через час, а у меня было впереди десять, чтобы хоть немного выспаться. Увидеться нам предстояло в больнице: сегодня ночью я заступал в отделение «Скорой помощи», а она в педиатрию, мы оба дежурили, но в разных корпусах.

Проснувшись, я нашел на кухонном столе тарелку с сыром и записку. Софи приглашала меня зайти к ней в отделение, если будет время. Моя за собой тарелку, я заметил в мусорном ведре рубашку, в которой она была вчера.

Я пришел в отделение к полуночи. В приемном покое мне сообщили, что сегодня тихо: я, пожалуй, мог бы остаться дома, сказала регистраторша, занося мое имя в список дежурных экстернов.

Никто не может объяснить, почему в одни ночи в отделении «Скорой помощи» не продохнуть от больных, а в другие — почти никого. Мне, усталому, это было на руку.

С Софи мы встретились в кафетерии. Я дремал, опустив голову на руки и уткнувшись носом в стол. Она разбудила меня, толкнув локтем.

— Спишь?

— Уже нет, — ответил я.

— Мои фермеры отыскали редкую жемчужину, рыжего крольчонка, в точности как ты просил.

— Где они?

— В отеле неподалеку, ждут моих указаний. Я будущий педиатр, а не ветеринар. Если бы ты просветил меня насчет дальнейших действий, мне бы это очень помогло.

— Позвони им, пусть придут в отделение «Скорой помощи», я их встречу.

— В три часа ночи?

— По-твоему, есть шанс наткнуться в коридоре на главврача в три часа ночи?

Софи нашла телефон отеля в черной записной книжечке, которую всегда носила в кармане халата. Я побежал в отделение «Скорой помощи».

У родителей маленького пациента был растерянный вид. Просьба подняться среди ночи, чтобы принести в больницу кролика, удивила их не меньше, чем Софи. Зверек был спрятан в кармане пальто матери. Я провел их в приемный покой и представил дежурной регистраторше: дядя и тетя из провинции, проездом в городе, зашли меня навестить. Час, конечно, странный для семейного визита, но человека, работающего в отделении «Скорой помощи» городской больницы, не так легко удивить.

Я повел родителей коридорами, стараясь избегать дежурных сестер. По дороге я объяснил матери мальчика, что от нее требуется. Мы дошли до входа в крыло педиатрии, там нас уже поджидала Софи.

— Я послала дежурную сестру принести мне чаю из автомата. Не знаю, что ты собираешься делать, но давай побыстрее. Она скоро вернется. У нас самое большее двадцать минут, — сообщила Софи.

В палату со мной вошла только мать. Она села на кровать и погладила лобик спящего сына. Мальчик открыл глаза и, верно, решил, что мать ему снится. Я сел с другой стороны.

— Я не хотел тебя будить, но мне надо показать тебе кое-что, — сказал я ему.

Его кролика, заверил я, не съели, он жив-живехонек. У него родился малыш, а этот паршивец взял и сбежал к другой крольчихе. Некоторые отцы, к сожалению, так поступают.

— А вот твой отец ждет тебя в коридоре, один за этой дверью, среди ночи, потому что он любит тебя больше всего на свете, да и твою маму тоже очень любит. Ну вот, если ты мне не веришь, смотри!

Мать достала крольчонка из кармана и опустила на кровать сына, удерживая двумя руками. Мальчик во все глаза уставился на зверька. Он медленно протянул ладошку, погладил его по голове, мать разжала руки, контакт был установлен.

— У этого крольчонка нет никого на всем свете, ты ему нужен. И если ты не наберешься сил, он погибнет. Тебе надо есть, чтобы заботиться о нем.

Я оставил мальчика с матерью и, выйдя в коридор, пригласил в палату отца. Можно было надеяться, что мой план сработает. Сурового вида крестьянин обнял меня и крепко прижал к себе. На короткий миг мне захотелось стать этим маленьким мальчиком, чтобы вновь обрести отца.

* * *

Когда через день я пришел в больницу, мне передали записку от секретаря заведующего отделением: меня просили немедленно явиться к нему в кабинет. Такое было впервые, и я прежде поговорил с Софи. Дежурная сестра нашла кроличью шерсть в постели маленького пациента из палаты 302, и тот выдал секрет за стакан фруктового сока и тарелку каши.

Софи все объяснила сестре и, поскольку результат был налицо, умоляла ее молчать о чудодейственном средстве. Увы, некоторым ревнителям правил не хватает ума иной раз их нарушить. С ума сойти, как

держатся за соблюдение правил те, кому недостает воображения.

Что ж, я, в конце концов, пережил достаточно наказаний от мадам Шеффер — шестьдесят два за шесть лет учебы, то есть каждую четвертую субботу. В больнице я работал девяносто шесть часов в неделю: что хуже этого могло со мной случиться?

Мне не пришлось идти в кабинет профессора Фернштейна — заведующий сам совершал утренний обход в сопровождении двух ассистентов. Я присоединился к окружавшей их группе студентов. Софи еле держалась на ногах, когда мы вошли в палату 302.

Фернштейн изучил листок, вывешенный в изножье кровати; пока он читал, стояло гробовое молчание.

— Итак, к мальчику сегодня утром вернулся аппетит, хорошая новость, не правда ли? — обратился он к сопровождающим.

Психиатр поспешил расхвалить плюсы своего лечения: он-де уже несколько дней успешно работает с больным.

— А у вас, — Фернштейн повернулся ко мне, — нет никаких других объяснений этому внезапному улучшению?

— Никаких, профессор, — ответил я, опустив голову.

— Вы уверены? — настаивал он.

— Я не успел изучить карту этого пациента, я больше работаю в отделении «Скорой»...

— Стало быть, мы должны заключить, что команда психологов преуспела в своей работе, и приписать всю заслугу ей? — перебил он меня.

— Я не вижу причин думать иначе.

Фернштейн отложил листок и подошел к мальчику. Мы с Софи переглянулись — она была вне себя. Старый профессор погладил ребенка по голове.

— Я рад, что тебе лучше, малыш. Теперь мы будем постепенно тебя подкармливать и, если все пойдет хорошо, через несколько дней вынем иглы из твоей руки и вернем тебя родителям.

Обход продолжился. Когда он был закончен, студенты разошлись каждый по своим делам.

Фернштейн окликнул меня, когда я уже уходил:

— На два слова, молодой человек!

Софи тотчас подошла и встала между нами.

— Я полностью разделяю ответственность за происшедшее, профессор, это моя вина.

— Я не знаю, о какой вине вы говорите, мадемуазель, так что лучше вам помолчать. У вас наверняка есть работа, вот и ступайте.

Дважды повторять Софи не пришлось, она оставила меня наедине с профессором.

— Правила, молодой человек, — сказал он мне, — существуют для того, чтобы вы приобрели опыт, не убив слишком много пациентов, приобретенный же опыт позволяет вам от них отступать. Я не знаю, как вам удалось совершить это маленькое чудо и что натолкнуло вас на верный путь, буду признателен, если когда-нибудь вы со мной поделитесь, мне ведь история известна только в общих чертах. Но не сегодня, иначе мне придется вас наказать, а я из тех, кто считает, что в нашей профессии важен результат. Пока же советую вам подумать о педиатрии, когда будете выбирать интернатуру. Если у человека дар, жаль зарывать его в землю, право, жаль.

С этими словами старый профессор повернулся и ушел, не простившись со мной.

Сменившись с дежурства, я вернулся домой озабоченный. Весь день и всю ночь меня не покидало ощущение незавершенности, оно тяготило, хоть причины его я понять не мог.

* * *

Неделя выдалась адская, отделение «Скорой помощи» было переполнено, и мои дежурства затягивались много дольше положенных суток.

С Софи я встретился в субботу утром; глаза у меня к тому времени совсем ввалились.

Мы назначили встречу в парке у пруда, где дети пускали кораблики.

Софи пришла с корзинкой, в которой лежали яйца, соленья и паштет.

— Держи, — сказала она, протягивая ее мне, — это фермеры принесли для тебя вчера в больницу, ты уже ушел, и они попросили меня передать.

— Ты можешь поручиться, что паштет не кроличий?

— Нет, свиной. Яйца прямо из-под курицы. Приходи сегодня ко мне, я приготовлю тебе омлет.

— Как твой больной?

— Розовеет с каждым днем, скоро совсем выздоровеет.

Я откинулся на спинку стула, сцепив руки на затылке, и подставил лицо теплым солнечным лучам.

— Как ты ухитрился? — спросила Софи. — Три психолога ничего не смогли добиться, а тебе за несколько минут в саду удалось...

Я слишком устал для логического объяснения, которого она от меня ждала. Софи хотела разумных доводов, которых у меня сейчас просто не было. Я даже не успел задуматься, слова вырвались сами собой, словно какая-то сила заставила меня сказать вслух то, в чем я не смел признаться даже самому себе.

— Мальчик ничего мне не сказал, я узнал, отчего он страдает, от его тени.

В глазах Софи я вдруг увидел то же скорбное выражение, с каким посмотрела на меня мама однажды на чердаке.

— Совсем не учеба мешает нашим отношениям, — сказала она, и губы ее дрогну ли. — Наш плотный график — только предлог. Истинная причина в том, что ты мне не доверяешь.

— Возможно, дело и правда в доверии, иначе ты поверила бы мне, — ответил я.

Софи встала и ушла. Я еще посидел немного, и тут тихий голос изнутри назвал меня дураком. Я вскочил и кинулся за ней вдогонку.

— Мне просто повезло, вот и все, я задавал ему правильные вопросы. Я отталкивался от своего детства, спросил, не потерял ли он друга, расспрашивал о родителях, так постепенно и выведал, где зарыта собака... то есть кролик. Повезло и только, никакой моей заслуги тут нет. Почему ты придаешь этому такое значение? Он ведь выздоравливает, это главное, разве нет?

— Я часами просиживала у постели этого малыша и ни разу не услышала его голоса, а ты уверяешь меня, что за несколько минут выведал все про его жизнь?

Никогда еще я не видел Софии в таком гневе.

Я обнял ее — и сам не заметил, как моя тень пересеклась с ее тенью.

«У меня нет никаких талантов, я ни в чем никогда не блистала, мои учителя не раз мне это повторяли. Я была не той дочерью, о которой мечтал мой отец, впрочем, он все равно хотел сына. Не очень красивая, я, подрастая, делалась то слишком худой, то слишком толстой. Я стала хорошей ученицей, но далеко не лучшей... Я не помню, чтобы он меня хоть раз за что-нибудь похвалил. Ничто во мне ему не нравилось».

Тень Софи нашептала мне это признание, которое нас сблизило. Я взял ее за руку.

— Идем, я открою тебе один секрет.

Я повел Софи к раскидистому тополю, и мы легли на траву в тени ветвей, где было чуть прохладнее.

— Мой отец ушел однажды субботним утром, когда я вернулся из школы, отбыв наказание, заработанное в первую же неделю учебного года. Он ждал меня в кухне, чтобы сообщить о своем уходе. Все мое детство я корил себя за то, что был недостаточно хорош и потому он не остался с нами. Ночи напролет я ломал голову, в чем же мог провиниться, чем его разочаровал. Я твердил себе, что, будь я замечательным сыном, которым можно гордиться, он бы не покинул меня. Да, я знал, что он разлюбил мою маму и полюбил другую женщину, но все равно винил в его уходе себя. Я боялся позабыть его лицо, позабыть, что он живет на свете, что у меня, как и у моих одноклассников, тоже есть отец, и бороться с этим страхом мне помогала только боль.

— Почему ты говоришь мне это сейчас?

— Ты же хотела, чтобы мы доверяли друг другу? Ты приходишь в ужас, когда ситуация выходит из-под контроля, замыкаешься в себе, думая, что терпишь неудачу... Я говорю тебе это сейчас, потому что слов недостаточно, чтобы услышать то, что не удастся выразить. Твой маленький пациент погибал от одиночества, чуть совсем не зачах, стал тенью самого себя. Его печаль привела меня к нему.

Софи потупила глаза.

— У меня всегда были конфликтные отношения с отцом, — призналась она.

Я не ответил. Софи опустила голову мне на плечо, и мы немного полежали молча. Я слушал пение сляков над нашими головами, оно звучало как упрек, ведь я сказал не все, что должен был сказать. И я собрался с духом.

— А мне бы так хотелось иметь хоть какие-нибудь отношения с моим, пусть даже конфликтные. Если чересчур требовательный отец не способен быть счастливым, это не значит, что его дочь должна повторить его судьбу. Вот когда твой отец заболит, он оценит в полной мере, что ты значишь в его жизни. Ну так что, твое предложение еще в силе, приготовишь мне омлет?

* * *

Маленький пациент Софи так и не выписался из больницы. Через пять дней после того, как он начал есть, возникли осложнения, и пришлось снова поместить его под капельницу. Ночью у него открылось кишечное кровотечение, реанимационная бригада сделала все возможное, но безуспешно. Сообщить о его смерти родителям выпало Софи: обычно это делает дежурный интерн, но она была одна у пустой кровати, когда отец и мать вошли в палату 302.

Я узнал новость в обеденный перерыв в саду. Софи вышла ко мне; невозможно было найти для нее слова утешения. Я крепко обнимал ее. Совет, полученный от Фернштейна в больничном коридоре, не давал мне покоя. Я не мог ни вылечить, ни утешить, и мне хотелось постучать в дверь его кабинета, чтобы попросить помощи, но я знал, что нельзя.

Рядом стояла девочка, та самая, что играла в классики. Она не сводила с нас глаз, потрясенная нашим горем. В сад вошла ее мать, села на скамейку и позвала ее. Оглянувшись на нас в последний раз, девочка побежала к ней. Мать положила на скамейку картонную коробочку. Дочка развязала ленту и вынула шоколадную булочку, маме же достался кофейный эклер.

— Не бери дежурства на эти выходные, — сказал я Софи. — Я увезу тебя далеко отсюда.

2

Мама ждала нас на перроне. Я как мог успокаивал Софи, но, сколько ни повторял всю дорогу, что ей нечего опасаться, никто ее не осудит, встреча с моей матерью ее пугала. Она то и дело приводила в порядок волосы, одергивала свитер, расправляла складки на юбке. Впервые я видел ее одетой не в брюки. Этот штрих

женственности ее, похоже, смущал: Софи избрала для себя мальчишеский стиль, находя в нем защиту от внешнего мира.

Мама проявила деликатность: сначала тепло поздоровалась с Софи, а потом уж обняла меня. Я не знал, что она купила машину — маленькую, подержанную, совсем неказистую, но мама настолько к ней привязалась, что даже дала ей имя. Моя мама вообще любила давать вещам имена. Однажды я услышал, как она желала доброго утра заварочному чайнику, который тщательно протирала, а потом поставила на подоконник, носиком к стеклу, чтобы он мог любоваться видом. И это меня она всегда упрекала в избытке воображения!

Как только мы приехали домой, тот самый чайник, носивший имя Марселина в память об одной старой тетушке, пошел в дело. Яблочный пирог, политый кленовым сиропом, ждал нас на столе в гостиной. Мама задала тысячу вопросов о наших занятиях, о заботах и радостях. Разговор о нашей жизни в больнице пробудил дорогие ей воспоминания. Она, никогда не говорившая дома о своей работе, теперь так и сыпала случаями из своего медсестринского прошлого, но обращалась только к Софи.

В ходе разговора она то и дело спрашивала, сколько мы думаем у нее пробыть. Софи наконец вытянула ноги, села свободнее и пришла мне на помощь, отвечая на некоторые из тысячи вопросов.

Воспользовавшись передышкой, я взял наши вещи и понес наверх. Когда я поднимался по лестнице, мама крикнула мне вслед, что приготовила гостевую комнату для Софи и постелила свежие простыни на мою кровать. Она добавила, что кровать мне, возможно, уже маловата. Я улыбнулся, одолевая последние ступеньки.

День был чудесный, и мама предложила нам прогуляться, пока она будет готовить ужин.

Мы шагали по дороге, которую я прошел из конца в конец столько раз; ничего не изменилось. Вот платан, на коре которого я когда-то в приступе меланхолии нацарапал перочинным ножом слова. Порез давно затянулся, заключив в древесине надпись, которой я был в ту пору горд: «Элизабет — уродина».

Софи попросила рассказать о моем детстве. Ее собственное прошло в столице, и перспектива признаться, что единственным нашим субботним развлечением был поход в супермаркет, не вдохновляла. Когда она спросила, чем были заняты мои дни, я толкнул дверь булочной и ответил:

— Идем, я тебе покажу.

Мать Люка сидела за кассой. Увидев нас, она слезла с табурета, обошла стойку и крепко обняла меня.

Надо же, как я вырос! Впрочем, так со всеми случается, да и пора уж. Вот только выгляжу что-то неважно, наверное оттого, что небрит. А похудел-то как! Большой город здоровью не на пользу. Если студенты-медики будут болеть, кто станет лечить людей?

Мама Люка была рада угостить нас всеми сладостями, каких только нам захочется.

Она на секунду замолчала, посмотрев на Софи, и понимающе улыбнулась мне. Мол, повезло тебе, она красивая.

Я спросил, как поживает Люк. Мой друг спал наверху. График студента-медика — курорт в сравнении с расписанием подмастерья булочника. Мама Люка попросила нас присмотреть за булочной, пока она сходит за ним.

— Небось помнишь еще, как обслужить клиента, — сказала она и, подмигнув мне, вышла через заднюю дверь.

— Что, собственно, мы с тобой здесь делаем? — спросила Софи.

Я уселся за прилавок.

— Хочешь кофейный эклер?

Тут появился встрепанный Люк. Мать, наверно, ничего ему не сказала, потому что при виде меня он вытаращил глаза.

Я готов был поклясться, что он постарел больше меня. И тоже выглядел неважно, скорее всего из-за следов муки на щеках.

Мы не виделись с моего отъезда, и столь долгая разлука давала себя знать. Каждый искал слова, подбирал подходящие фразы. Нас разделяли несколько лет, кто-то должен был сделать первый шаг, но мы оба стеснялись. Я протянул ему руку, он раскрыл мне объятия.

— Старик, где ты пропадал все это время? Сколько пациентов угробил, пока я пек булочки?

Люк снял передник. Раз в кои-то веки отцу придется обойтись без него.

Все вместе мы отправились гулять, и ноги сами вынесли нас на ту дорогу, где родилась наша с Люком дружба, туда, где прошли ее лучшие годы.

Стоя у ограды, мы молча смотрели на школьный двор. Под сенью высокого каштана мне почудилась тень маленького мальчика, неуклюже сгребавшего листья. Старая скамья была пуста. Мне очень хотелось войти и добраться до сторожки.

Мое детство осталось здесь. Каштаны тому свидетели, я сделал все, чтобы с ним расстаться, загадывал желание, всегда одно и то же, при виде каждой падающей звезды в августовском небе. Я хотел выбраться из своего чересчур тесного тела, но почему же в этот день мне так отчаянно не хватало Ива?

— Здесь мы прошли огонь, воду и медные трубы, — сказал Люк, вымученно усмехнувшись. — А как весело нам бывало, помнишь?

— Не всегда, — ответил я.

— Нет, не всегда, но все-таки...

Софи кашлянула. Не то чтобы ей стало скучно в нашем обществе, но перспектива насладиться последними лучами солнца в саду привлекала больше. Она была уверена, что найдет дорогу: надо просто идти прямо. И моей маме компания не помешает, сказала она, уходя.

Люк проводил ее взглядом и присвистнул сквозь зубы.

— Ты не скучаешь, старик. Я бы тоже хотел еще поучиться, вроде как прокатиться лишний круг на карусели.

— Знаешь, медицинский факультет — это не совсем Луна-парк.

— Работа, знаешь, тоже. А ведь мы оба носим белые халаты — вот и еще кое-что общее.

— Ты счастлив? — спросил я.

— Я работаю с отцом, это не всегда легко, но я учусь ремеслу. Я уже начинаю зарабатывать на жизнь, а еще занимаюсь сестренкой, она растет. Работа в булочной нелегкая, но я не жалуясь. Да, думаю, я счастлив.

Однако мне казалось, что свет, некогда сиявший в твоих глазах, Люк, теперь погас и ты как будто был в обиде на меня за то, что я уехал, оставив тебя одного.

— Может, проведем вместе вечер? — предложил я.

— Мама не видела тебя несколько месяцев, и потом, твоя подружка — ее ты куда денешь? Вы с ней давно?

— Не знаю, — ответил я.

— Ты не знаешь, сколько времени с ней встречаешься?

— Мы с Софи скорее друзья, — буркнул я.

И правда, я не мог даже вспомнить, когда мы впервые поцеловались. Наши губы соприкоснулись однажды вечером, когда я прощался с ней после дежурства, но надо бы спросить ее, считает ли она это первым поцелуем. В другой раз, в парке, я угостил Софи мороженым, и, когда стирал пальцем капельку шоколада с ее

губ, она меня поцеловала. Может быть, именно в тот день наша дружба переросла в нечто большее. Да так ли уж важно помнить первый раз?

— Ты думаешь что-то с ней построить? — неловко спросил Люк. — Я хочу сказать, что-то серьезное? Прости, если это нескромный вопрос, — тотчас извинился он.

— При наших безумных графиках, если удастся провести вместе два вечера в неделю, — это уже подвиг.

— Возможно, но при ваших безумных графиках она все-таки нашла время посвятить тебе уик-энд да еще провести его с тобой в нашей дыре: это, согласишься, что-то значит. Она заслуживает лучшего, чем коротать время с твоей мамой, пока ты будешь болтать со старым другом. Мне бы тоже хотелось, чтобы в моей жизни кто-то был, но наши красавицы-одноклассницы давно отсюда сбежали. И потом, кто захочет строить жизнь с человеком, который ложится спать в восемь, а среди ночи идет ставить тесто?

— Твоя мама ведь вышла за булочника.

— Моя мама всегда твердит мне, что времена изменились, хоть люди по-прежнему едят хлеб.

— Приходи к нам сегодня вечером, Люк, завтра мы уезжаем, и я хотел...

— Не могу, мы начинаем в три, мне надо выспаться, иначе я не работник.

Люк, старина, что с тобой случилось, где наш былой беззаботный смех?

— О мэрии ты больше не думаешь?

— Для политики нужно какое-никакое образование, — усмехнулся Люк.

Наши тени вытянулись рядом на тротуаре. В школьные годы я всегда внимательно следил, как бы не украсть его тень, а если это изредка и невольно случалось, тотчас ему ее возвращал. Друг детства — святое. С этой-то мыслью я и шагнул вперед, потому что слишком любил его, чтобы делать вид, будто не слышу того, что он не мог сказать мне вслух.

Люк ничего не понял. Тень подо мной была не моя, но как он мог это заметить? Наши тени были теперь одного роста.

Я простился с другом у дверей булочной. Мы обнялись, и он еще раз повторил, что страшно рад меня видеть. Надо хотя бы созваниваться время от времени.

Я вернулся домой с коробкой пирожных — на этом настоял Люк. В память о старых добрых временах, сказал он, хлопнув меня по плечу.

* * *

За обедом мама завязала разговор с Софи. Вопросы, которые она ей задавала, все косвенно касались моей жизни — спрашивать напрямую мама стеснялась. Софи спросила ее, каким я был в детстве. Всегда странно слышать, как говорят о вас в вашем присутствии, особенно если собеседники делают вид, будто вас рядом нет. Мама заверила, что я был спокойным мальчиком, — но о моем истинном детстве она многого не знала. После короткой паузы она добавила, что я никогда не приносил ей разочарований.

Я люблю морщинки, что залегли в уголках ее рта и у глаз. Я знаю, что сама она их ненавидит, но меня они как-то успокаивают. На ее лице я читаю нашу общую жизнь, мою и ее. Нет, не по детству я тосковал, вернувшись сюда, но по маме, по нашей близости, нашим субботним походам в супермаркет, по нашим ужинам вдвоем, которые иногда проходили в полном молчании, но не было на свете людей ближе нас; я скучал по тем ночам, когда она приходила ко мне в комнату, ложилась рядом, гладила меня по голове. Это только кажется, что годы уходят. Самые простые моменты запечатлеваются в нас навсегда.

Софи рассказала маме о смерти маленького мальчика, которого она не смогла спасти, о том, как трудно отдаться делу целиком, ограждая себя от горя в случае неудачи. Мама ответила, что с детьми это особенно тяжело. Иным врачам удастся очерстветь больше других, однако она готова поклясться, что терять пациента для всех одинаково тяжело. Мне порой думалось, что, может быть, я выбрал медицину в надежде когда-нибудь исцелить мою мать от ран, нанесенных ей жизнью.

После ужина мама тихонько ретировалась, а я увлек Софи в сад за домом. Ночь была теплая, Софи опустила голову мне на плечо и поблагодарила за то, что я хоть на несколько часов увез ее из больницы. Я извинился за мамину болтовню: наш уик-энд мог бы быть более интимным.

— Что ты, где может быть интимнее, чем здесь? Сто раз я рассказывала тебе о себе, сто раз ты меня слушал, но сам никогда ничего не говорил. Сегодня я чувствую, что хоть немного наверстала упущенное.

Взошла луна. Софи, взглянув на нее, сказала мне, что сегодня полнолуние. Я поднял голову и посмотрел на крышу. Шифер ярко блестел.

— Пошли, — велел я, потянув Софи за руку, — постарайся не шуметь и иди за мной.

Когда мы поднялись на чердак, Софи пришлось пробираться под крышу на четвереньках. У слухового окна я поцеловал ее. Мы долго сидели, слушая окутавшую нас тишину.

У Софи слипались глаза. Она оставила меня одного и, закрывая за собой люк, сказала, что, если моя кровать мала, я могу прийти спать к ней.

* * *

В доме все стихло, ни звука, ни шороха. Я открыл одну из коробок и, перебирая сокровища детства, вдруг почувствовал себя странно. Как будто мои руки стали меньше, как будто мир, который я оставил, вновь обступил меня. Первые лунные лучи коснулись половиц чердака. Я выпрямился и, стукнувшись головой о балку, вернулся к действительности, но передо мной уже легла тень, длинная, тонкая, как карандашный штрих. Она дотянулась до сундука и, я готов поклясться, села на него. Тень смотрела на меня, ожидая, что я заговорю первым. Это был вызов, но я молчал.

— Итак, ты все-таки вернулся, — сказала она. — Я рада, что ты здесь, мы тебя ждали.

— Вы меня ждали?

— А как же, мы ведь знали, что рано или поздно ты вернешься.

— Я сам еще вчера не знал, что буду здесь сегодня вечером.

— Думаешь, ты здесь случайно? Та девочка, что играла в классики, была нашим посланцем. Ты нам нужен.

— Кто ты?

— Я староста. Пусть класс давно распущен, мы продолжаем присматривать за вами, ведь тени стареют иначе.

— Чего вы ждете от меня?

— Сколько раз он вырывал тебя из лап Маркеса? А помнишь, как тебе бывало одиноко и он оказывался тут как тут, с шутками и смехом? Помнишь, как вечерами вы шли вдвоем из школы, сколько часов провели вместе? Он был твоим лучшим другом, не так ли?

— Зачем ты мне все это говоришь?

— Однажды здесь, на чердаке, ты смотрел на фотографию, которую я тебе подарила, и у тебя вырвался вопрос: «Куда девалась вся эта любовь?» Теперь моя очередь спросить тебя: эта дружба — куда ты ее дел?

— Ты тень Люка?

— Ты говоришь мне «ты», стало быть, знаешь, кому я принадлежу.

Луна склонилась на правую сторону окна. Тень тихонько соскользнула с сундука на пол, стала еще тоньше.

— Постой, не уходи! Что я должен сделать?

— Помоги ему изменить жизнь, заведи его с собой. Вспомни, из вас двоих учиться на врача надо было ему. Еще не поздно, никогда не бывает поздно, если любишь. Помоги ему стать тем, кем он хотел. Ты сам это

знаешь. Извини, что покидаю тебя, но время идет, у меня нет выбора. До свидания.

Луна ушла из слухового окна, и тень растаяла между двумя коробками.

Закрыв за собой люк, я пошел к Софи. Когда я лег рядом, она прижалась ко мне и тотчас снова уснула. Я долго лежал в темноте с открытыми глазами. Пошел дождь, я слушал стук капель по кровле, шелест кустов шиповника в саду. Каждый звук в ночи в этом доме был мне знаком и близок.

* * *

Около девяти утра Софи потянулась. Ни я, ни она давно, уже несколько месяцев, не спали так долго.

Мы спустились в кухню, где нас ждал сюрприз. За столом сидел и беседовал с моей мамой Люк.

— Обычно в это время я ложусь спать, но вы уезжаете, и я не мог с вами не проститься, — сказал он мне. — Смотри, я вам кое-что принес. Я испек их рано утром с мыслью о вас, это особая партия.

Люк протянул нам корзинку, полную еще теплых круассанов и булочек.

— Вкусно? — спросил он, с умилением глядя, как лакомятся Софи.

— Лучше булочек я в жизни не ела, — ответила она.

Мама, извинившись, оставила нас: ей надо было поработать в саду.

Софи вонзила зубы в круассан, и по глазам Люка я увидел, что аппетит моей подруги доставляет ему огромное удовольствие.

— Хороший он доктор, мой кореш? — спросил он у Софи.

— Не сказать чтобы ангел, но да, он будет хорошим врачом, — ответила она с полным ртом.

Люк хотел все знать о наших больничных буднях, ему все было интересно. И чем больше Софи ему рассказывала, тем больше я понимал, как он мечтает о такой жизни.

Софи в свою очередь спросила его об «огне, воде и медных трубах», упомянутых вчера у школьной ограды. Несмотря на мои грозные взгляды, Люк рассказал ей о том, как я воевал с Маркесом, как тот запер меня в шкафчике, как он, Люк, каждый год помогал мне победить на выборах старосты, и даже о пожаре в сторожке. По ходу разговора смех Люка вновь стал прежним, искренним и заразительным.

— В котором часу вы уезжаете? — спросил он.

Софи предстояло заступать на дежурство в полночь, а мне завтра утром. Мы наметили выехать после обеда. Люк зевнул, изо всех сил борясь с усталостью. Софи пошла собирать вещи, оставив нас вдвоем.

— Ты еще приедешь? — спросил меня Люк.

— Конечно, — ответил я.

— Постарайся в следующий раз в понедельник, если сможешь. Ты ведь помнишь, что булочная закрыта по вторникам? Мы смогли бы провести вместе целый вечер, вот было бы здорово! У нас так мало времени, а мне хочется еще послушать, как ты там живешь.

— Люк, почему бы тебе не уехать со мной? Почему не попытаться счастья? Ты же мечтал учиться на врача. Получишь стипендию, а я устрою тебя санитаром для подработки, и за жилье платить не надо, моя комнатка невелика, но места нам двоим хватит.

— Ты хочешь, чтобы я пошел учиться сейчас? Надо было предлагать мне это пять лет назад, старина!

— Начнешь попозже — что такого? Кто спрашивает о возрасте врача, входя в его кабинет?

— Я сяду на студенческую скамью с людьми намного моложе, мне не хочется быть Маркесом курса.

— Подумай, сколько девушек вроде Элизабет не устоят перед обаянием твоей зрелости.

— Конечно, — задумчиво протянул Люк, — если так посмотреть... Нет, брось, не тешь меня мечтами. Поболтать с тобой приятно, но, когда ты уедешь, мне будет еще хуже.

— Что тебе мешает? Подумай, ведь это твоя жизнь!

— И моего отца, матери, сестренки. Я им всем нужен здесь. Машина на трех колесах далеко не уедет. Тебе не понять, что такое семья.

Люк опустил голову, уткнувшись носом в чашку с кофе.

— Прости, — вздохнул он, помолчав, — я не это хотел сказать. Дело в том, дружище, что предок никогда меня не отпустит. Я ему нужен, я его опора на старости лет, он рассчитывает, что я сменю его в булочной, когда он уже не сможет вставать к печи среди ночи.

— Лет через двадцать, Люк! Твой отец состарится лет через двадцать, и потом, у тебя ведь есть сестра!

Люк рассмеялся.

— Да уж, представляю, как отец стал бы учить ее ремеслу, это же он у нее по струнке ходит. Меня он держит в ежовых рукавицах, а она вертит им как хочет.

Люк встал и направился к двери.

— Рад был тебя повидать. Больше не пропадай так надолго. Все равно, даже если ты станешь знаменитым профессором и будешь жить в шикарной квартире, в шикарном районе большого города, твой дом останется здесь.

Люк обнял меня на прощание. Когда он был уже в дверях, я окликнул его:

— В котором часу ты начинаешь работу?

— Тебе это зачем?

— Я тоже работаю ночами, если буду знать твое расписание, на дежурстве мне будет не так одиноко. Посмотрю на часы и представлю себе, что ты делаешь.

Люк посмотрел на меня как-то странно.

— Ты же расспрашивал, что мы делаем в больнице, так расскажи, как проходит твоя жизнь у печи.

— В три часа ночи мы замешиваем тесто: мука, вода, соль, дрожжи. После первого замеса надо ждать, чтобы оно подошло. Около четырех у нас перерыв. В теплую погоду я открываю заднюю дверь булочной, выставляю в проулок два табурета, и мы с папой пьем кофе. Мы почти не разговариваем, папа уверяет, что тесто не любит лишнего шума, но вообще-то это ему надо отдохнуть. Выпив кофе, я даю ему вздремнуть часок на табурете, а сам иду мыть подносы и расстилать льняные салфетки, на которые мы потом уложим хлеб.

Потом отец присоединяется ко мне, и мы делаем второй замес. Делим тесто на порции, формуем, прокалываем каждую булочку ножом, чтобы корочка не лопнула, и наконец сажаем в печь.

Казалось бы, каждую ночь одно и то же, но всякий раз бывает по-разному, главное — результат. Когда холодно, тесто подходит дольше, в него надо добавить горячей воды и побольше дрожжей; когда жарко, нужна, наоборот, ледяная вода, иначе оно быстро пересохнет. Чтобы испечь хороший хлеб, важна каждая мелочь, даже погода на дворе; булочники не любят дождь, в ненастье работать приходится дольше.

В шесть часов мы достаем из печи первую утреннюю партию хлеба. Даем ему немного остыть и несем в булочную. Вот так, старина, но если ты думаешь, что, выслушав мой рассказ, сам станешь булочником, то ошибаешься. Правда, твои рассказы о больнице тоже не сделают меня врачом. Ну все, мне надо пойти поспать, поцелуй от меня маму и еще крепче — твою подружку. Мне нравится, как она на тебя смотрит, тебе повезло, и я искренне рад за тебя.

Простившись с Люком, я вышел в сад и застал маму сидящей на корточках у клумбы с розами. Цветы прибило дождем, и она аккуратно поднимала каждый.

— Колени болят, — пожаловалась она, вставая. — А ты выглядишь лучше, чем вчера. Остался бы на несколько дней, чтобы набраться сил.

Я не ответил, глядя в ее глаза, которые улыбались мне. Если бы ты знала, мама, до чего мне хотелось, чтобы ты написала объяснительную записку, как в те времена, когда в твоей власти было отпустить мне все грехи, даже прогул.

— Вы хорошая пара, — сказала мама, взяв меня за руку.

Я по-прежнему ничего не отвечал, и она продолжила свой монолог:

— Иначе разве ты повел бы ее к себе на чердак вчера вечером? Знаешь, я все слышу в этом доме, всегда слышала. После твоего отъезда я, бывало, навевывалась туда. Когда очень по тебе скучала, забиралась и садилась у слухового окна. Не знаю почему, но там мне казалось, что я как-то к тебе ближе, будто, глядя сквозь стекло, я видела вдали тебя. Давно уже я туда не поднималась; я же сказала, у меня колени болят, трудно стало пробираться на четвереньках среди всего этого хлама. О, не делай такое лицо, можешь мне поверить, твои коробки я не открывала. У твоей мамы, конечно, есть недостатки, но бестактность не входит в их число.

— Я ни в чем тебя не обвиняю, — ответил я.

Мама погладила меня по щеке.

— Будь честным с собой и тем более с ней; если твое чувство к ней — не любовь, не давай ей надежды попусту, она хорошая девушка.

— Почему ты мне это говоришь?

— Потому что ты мой сын — кто знает тебя лучше, чем я?

Мама сказала, чтобы я шел к Софи, а ей надо подрезать ветки роз. Я поднялся в комнату. Софи, облокотясь о подоконник, рассеянно смотрела в окно.

— Ты очень обидишься, если тебе придется уехать одной?

Софи обернулась:

— Лекции я смогу для тебя законспектировать, но в понедельник вечером, если я не ошибаюсь, тебе на дежурство.

— Вот именно, это вторая услуга, о которой я хочу тебя попросить. Если можешь, зайди к заведующему отделением, скажи, что я заболел, ничего страшного, ангина, но я предпочел подлечиться и не заражать пациентов. Мне нужны всего сутки.

— Нет, я не обижусь, ты почти не видел маму, и вечер с тобой наверняка будет ей в радость. А я поеду одна и по дороге успею придумать для тебя более правдоподобную отмазку.

Мама обрадовалась, что я задержусь еще на день. На ее машине я отвез Софи на вокзал.

Софи поцеловала меня в щеку и лукаво улыбнулась, садясь в вагон. Окна в поезде теперь не открываются, и «до свидания» толком не скажешь, как раньше. Состав тронулся, Софи помахала мне рукой. Я стоял на перроне, пока не скрылись вдали огоньки последнего вагона.

3

— Что-нибудь не так? — спросила мама, когда я вернулся.

— Все в порядке. О чем ты?

— Ты отложил отъезд и оставил свою подружку одну только для того, чтобы провести вечер с матерью?

Я присел рядом с ней за кухонный стол и взял ее руки в свои.

— Я по тебе скучаю, — сказал я, целуя ее в лоб.

Мы поели в гостиной, мама приготовила на подносе мой любимый ужин, ветчину с макаронами-ракушками, как в былые времена. Она сидела рядом со мной на диване, не прикасаясь к своей тарелке, и смотрела, как я с аппетитом уплетаю ее стряпню.

Я хотел убрать со стола, но мама, взяв меня за руку, сказала, что посуда подождет. Не хочу ли я, спросила она, пригласить ее ко мне на чердак? Я поднялся с ней под крышу, спустил лесенку, открыл люк, и мы вместе уселись у слухового окна.

Поколебавшись немного, я задал ей вопрос, который давно вертелся у меня на языке:

— А папа так и не давал о себе знать?

Мама сощурилась. Я узнал тот самый взгляд медсестры, которым она когда-то смотрела на меня, силясь понять, вправду ли я болеваю или притворяюсь, чтобы избежать контрольной по истории либо математике.

— Ты еще часто думаешь о нем? — ответила она вопросом на вопрос.

— Когда в отделение «Скорой помощи» привозят мужчину его возраста, мне всегда страшно: вдруг это он, и я каждый раз думаю, что буду делать, если он не узнает меня.

— Он бы узнал тебя сразу.

— Почему он так ни разу и не приехал ко мне?

— Я долго не могла его простить. Наверно, слишком долго. Я наговорила много такого, о чем теперь жалею, но это потому, что все еще любила его. Я до сих пор люблю твоего отца. Мы делаем ужасные вещи, когда смешиваются любовь и ненависть, вещи, за которые потом себя корим. Я винила его даже не за то, что он меня бросил, — ответственность за это отчасти лежит и на мне. Всего невыносимее было представлять, что он счастлив с другой. Я не могла простить твоему отцу, что так сильно его любила. Должна тебе кое в чем признаться: что поделаешь, если твоя мама покажется тебе старомодной, но он — мой единственный мужчина. Если бы мы увиделись теперь, я бы поблагодарила его за лучший в мире подарок — за тебя.

Это откровение я услышал не от маминой тени, а от нее самой.

Я крепко обнял ее и шепнул, что очень ее люблю.

Самые драгоценные моменты в жизни зависят подчас от пустяков. Не останься я в тот вечер, этого разговора с мамой никогда бы не было. Уходя с чердака, я в последний раз оглянулся на слуховое окно и молча поблагодарил мою тень.

* * *

Будильник я поставил на три часа ночи. Оделся, на цыпочках вышел из дома и направился по дороге в школу. В этот час городок был пуст. Железная штора закрывала витрину булочной; я обошел дом и свернул в проулок. Там, стоя в сумраке метрах в пятидесяти от низкой двери, я ждал нужного момента.

В четыре часа Люк с отцом вышли из пекарни. Он, как и рассказывал мне, поставил у стены два стула, и его отец сел первым. Люк принес ему кофе; оба сидели и молчали. Отец Люка выпил свою чашку, поставил ее на землю и прикрыл глаза. Люк посмотрел на него, вздохнул и, подняв чашку, ушел в пекарню. Этого момента я и ждал. Сбравшись с духом, я шагнул вперед.

Люк — мой друг детства, лучший друг, однако, как это ни странно, я практически незнаком с его отцом. Когда я бывал у него в гостях, нам следовало вести себя тихо и не шуметь. Этот человек, который жил по ночам, а днем спал, пугал меня. Я представлял его призраком, который бродит наверху, над нами, стоит лишь поднять голову от уроков. Этому булочнику, с которым я и не виделся толком, я, пожалуй, в большой мере обязан своей усидчивостью в школьные годы и благодаря ему избежал многих наказаний, которые щедро раздавала мадам Шеффер. Если бы не мой страх перед ним, изрядное количество домашних заданий не было бы сдано в срок. В эту ночь мне предстояло наконец заговорить с ним, а для начала — разбудить его и представиться.

Только бы он не вздрогнул спросонья и не привлёк этим внимание Люка. Я тронул его за плечо.

Он поморгал, с виду не особенно удивившись, и огорошил меня словами:

— Это ты друг Люка, да? Я тебя узнал, ты постарел немного, но не так чтобы очень. Твой друг внутри. Иди поздоровайся с ним, только недолго, у нас работы невпроворот.

Я объяснил, что пришел не к Люку, а к нему. Он встал и жестом попросил меня подождать его поодаль в проулке. Приоткрыв дверь пекарни, он крикнул сыну, что пойдет размять ноги, и нагнал меня.

Отец Люка выслушал меня не перебивая. Когда мы дошли до конца проулка, он крепко пожал мне руку и сказал:

— А теперь ступай восвояси! — после чего ушел не оглянувшись.

Я пошел домой, понуриив голову, злой на себя: порученную мне миссию я провалил. Такое случилось впервые.

* * *

Вернувшись домой, я с тысячей предосторожностей постарался отпереть замок бесшумно. Напрасный труд: зажегся свет, и я увидел маму в халате, стоявшую в дверях кухни.

— Знаешь, — сказала она, — в твоём возрасте тебе уже нет нужды убегать тайком.

— Я просто вышел пройтись, мне не спалось.

— Думаешь, я не слышала давеча твой будильник?

Мама зажгла конфорку газовой плиты и поставила чайник.

— Ложиться спать уже поздно, — сказала она, — садись, я приготовлю тебе кофе, а ты расскажешь мне, почему задержался на сутки и главное — куда ходил в такой час.

Я сел за стол и рассказал о своём визите к отцу Люка.

Когда я закончил рассказ о своей неудавшейся миссии, мама положила руки мне на плечи и посмотрела прямо в глаза.

— Нельзя вмешиваться в чужую жизнь, даже с благими намерениями. Узнай Люк, что ты говорил с его отцом, он может и обидеться. Он, и только он, сам должен решать, как ему жить. Смирись с этим и повзрослей наконец. Ты не обязан утешать боль всех, кого встречаешь на своём пути. Даже стань ты лучшим в мире врачом, это тебе всё равно не удастся.

— А ты... Разве не это ты пыталась делать всю жизнь? Разве не поэтому возвращалась вечерами такая усталая?

— Мне кажется, милый, — вздохнула мама, вставая, — что ты, увы, унаследовал наивность твоей матери и упрямство отца.

* * *

Я уехал первым утренним поездом. Мама отвезла меня на вокзал. На перроне я пообещал, что скоро приеду снова. Она улыбнулась.

— Маленьким ты каждый вечер спрашивал, когда я приходила погасить у тебя свет: «Мама, а когда будет завтра?» Я отвечала: «Скоро». И всякий раз, закрывая дверь твоей комнаты, чувствовала, что мой ответ тебя не убедил. Похоже, в нашем возрасте роли переменялись. Что ж, до «скорого», родной, береги себя.

Я сел в вагон и долго смотрел в окно на мамин силуэт, который исчезал вдали под стук колёс уносящего меня поезда.

Первое письмо от мамы пришло через десять дней. Как и во всех письмах, она спрашивала о моих делах, надеясь на скорый ответ. Но проходило зачастую несколько недель, прежде чем я собирался с силами, вернувшись домой, доставить ей это удовольствие. Невнимание выросших детей к родителям граничит с чистым эгоизмом. Я чувствовал себя тем более виноватым, что все ее письма хранил в коробке, которая стояла на книжной полке, словно мама была всегда со мной.

С Софи мы почти не виделись после нашей поездки и даже не провели ни одной ночи вместе. Во время недолгого пребывания в доме моего детства между нами пролегла черта, которую ни она, ни я теперь не могли переступить. Когда я наконец сел за письмо маме, в конце написал, что Софи ее целует. Назавтра после этой лжи я нашел ее в отделении и признался, что скучаю. Она согласилась пойти со мной на следующий день в кино, но после сеанса предпочла вернуться к себе.

Вот уже месяц Софи обхаживал один интерн-педиатр, и она решила за нас обоих положить конец нашей неопределенности. Пожалуй, скорее моей. Узнав, что другой мужчина может присвоить то, чем я завладеть не решался, я пришел в ярость. Я сделал все, чтобы вновь завоевать ее, и две недели спустя наши тела соединились в моей постели. Соперник был изгнан, жизнь вошла в свою колею, и ко мне вернулась улыбка.

В начале сентября, когда я притащился домой после долгого дежурства, на лестнице меня ждал удивительный сюрприз.

У двери на чемоданчике сидел Люк с растерянным, но радостным лицом.

— Я тебя заждался, старик! — сказал он, вставая. — Надеюсь, у тебя найдется что-нибудь поесть, я умираю от голода.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я, отпирая дверь своей квартиры.

— Отец меня выставил!

Люк скинул куртку и уселся в единственное в комнате кресло. Пока я открывал банку тунца и ставил прибор на чемодан, заменявший мне столик, Люк лихорадочно тараторил:

— Я не понимаю, что с ним случилось, старина. Знаешь, когда ты уехал, следующей ночью я удивился, что он не вернулся в пекарню после перерыва. Я подумал, что он еще не проснулся, и даже, честно говоря, немного встревожился. Открыл дверь в проулок и увидел его сидящим на стуле — он плакал. Я спросил его, что случилось, но он не ответил, пробормотал только, что немного устал, да еще взял с меня слово забыть, что я видел, и ничего не говорить маме. Я пообещал. Но он с той ночи стал другим. Обычно за работой он бывает со мной суров, я знаю, что так он учит меня ремеслу, и не могу на него обижаться. Наверно, мой дед тоже был не сахар. Но тут он становился с каждым днем все добрее, даже почти ласковым. Когда мне что-то не удавалось, он не ругал меня, а снова показывал, как надо делать, и говорил, мол, ничего страшного, с ним тоже может случиться. Клянусь, я ничего не понимал. Однажды он даже обнял меня. Я начал думать, что у него с головой неладно. Боюсь, я не ошибся, потому что позавчера он меня уволил — рассчитал, словно простого ученика. В шесть часов утра он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, что, раз я такой неумеха, значит, булочная не для меня и, чем зря терять время, мое и его, лучше мне попытаться счастья в большом городе. Я должен сам выбрать свой путь, потому что только так в наши дни можно стать счастливым. Говорил он мне это с гневом. За обедом объявил маме, что я уезжаю, и закрыл булочную на весь остаток дня. Вечером, за ужином, никто ничего не сказал, а мама плакала. То есть слезы она лила в столовой, но каждый раз, когда я выходил на кухню, шла за мной, обнимала и шептала на ухо, что давно не была так счастлива. Прикинь, мама радовалась, что отец выставил меня за дверь... Говорю тебе, мои родители спятили! Я трижды смотрел на календарь, чтобы убедиться, что сегодня не первое апреля.

Утром отец пришел ко мне в комнату и велел одеваться. Мы сели в его машину и ехали восемь часов — восемь часов, не обменявшись ни словом. Только раз, в полдень, он спросил, не проголодался ли я. Мы приехали под вечер, он высадил меня у этого дома и сказал, что здесь живешь ты. Откуда он это знает? Даже я не знал! Отец вышел из машины, достал из багажника мою сумку. Положив ее к моим ногам, он протянул мне конверт и сказал, что там совсем немного, но больше он дать не может, на некоторое время мне хватит. Потом он сел за руль и уехал.

— И больше ничего не сказал? — спросил я.

— Сказал. Уже трогаясь, заявил: «Если врач из тебя получится такой же никудышный, как булочник, возвращайся домой, и тогда уж я выучу тебя ремеслу по-настоящему». Ты что-нибудь понимаешь?

Я откупорил единственную бутылку вина, подарок Софи, которую мы с ней не выпили в тот вечер, когда она мне ее принесла, раз лил вино по стаканам и, чокнувшись с Люком, заверил его, что тоже ничего не понимаю.

* * *

Я помог моему другу заполнить все бумаги, необходимые для поступления на первый курс медицинского факультета, и проводил его в приемную комиссию, где ему пришлось расстаться с большей частью денег, полученных им от отца.

Занятия начинались в октябре. Нам снова предстояло учиться вместе. Пусть не за одной партой, но можно будет видеться время от времени в больничном садике. Даже без каштана и баскетбольной корзины мы быстро превратим его в наш новый школьный двор.

В первый раз, когда мы там встретились, пришел мой черед благодарить его тень.

* * *

Люк поселился у меня. При наших несовпадающих расписаниях жить вместе было легко. Он спал на моей кровати, пока я дежурил ночами, и уходил на лекции, когда я возвращался. В те редкие ночи, когда нам приходилось делить комнату, он клал тюфячок у окна и, подложив под голову скатанное одеяло, спал как сурок.

В ноябре он признался мне, что закрутил роман с одной студенткой, с которой часто готовился вместе к занятиям. Аннабель была младше его на пять лет, но он уверял, что как женщина она старше своего возраста.

В начале декабря Люк попросил меня оказать ему огромную услугу. В тот вечер я постучался в дверь Софи и спал в ее постели. Да, роман Люка с Аннабель в итоге сблизил меня с Софи. Я все чаще ночевал у нее, а Аннабель все чаще в моей квартире. Воскресными вечерами Люк приглашал нас всех в мою квартиру, вставал к плите и радовал нас своими талантами кондитера. Не сосчитать, сколько тортов и пирогов мы уплели. После ужина мы с Софи оставляли Люка и Аннабель «готовиться к занятиям» наедине.

* * *

Маму я не видел с лета, осенью она не приехала. Она чувствовала себя усталой и не решилась пуститься в путь. Из ее письма я узнал, что наш дом, как и она сама, стареет. Она затеяла ремонт, но запахи краски переносила плохо. По телефону она уверяла меня, что беспокоиться совершенно не о чем. Несколько недель отдыха, и все будет хорошо. Она взяла с меня слово, что я приеду к ней на Рождество, а до Рождества осталось недолго.

Я купил ей подарок, взял билет на поезд и освободился от дежурства на 24 декабря.

Шофер автобуса и гололед нарушили мои планы. Неуправляемый занос — так говорили очевидцы: автобус врезался в парапет и опрокинулся. Сорок восемь пострадавших внутри, шестнадцать на тротуаре. Я собирался в дорогу, когда на тумбочке завибрировал пейджер. Я позвонил в больницу — всех экстернов срочно мобилизовали.

В приемном отделении «Скорой помощи» царил настоящий хаос, метались медсестры, все смотровые кабинеты были заняты, персонал сбивался с ног. Самых тяжелых увозили в операционный блок, те, что полегче, ждали своей очереди на каталках в коридоре. Люк с носилками сновал между машинами «скорой», одна за другой подъезжавшими к приемному покою. Впервые мы работали вместе. Он был бледен, и я старался не упускать его из виду.

Когда ему на носилки положили мужчину с открытым переломом бедра — большая и малая берцовые кости торчали из ноги под прямым углом, — он повернулся ко мне, позеленел, медленно сполз по двери тамбура и рухнул на плиточный пол. Я кинулся к нему, поднял и усадил в кресло, чтобы дать немного прийти в себя.

Аврал продолжался добрую часть ночи. Под утро отделение «Скорой помощи» походило на полевой госпиталь после боя. На полу, испачканном кровью, валялись бинты. Стало поспокойнее; дежурная бригада суежилась, пытаясь навести порядок.

Люк так и не встал с кресла, где я его оставил. Я сел рядом с ним. Он замер, уткнувшись головой в колени. Я заставил его выпрямиться и посмотреть на меня.

— Вот и все, — сказал я. — Ты принял боевое крещение и, хоть сам, конечно, думаешь иначе, перенес его неплохо.

Люк вздохнул, огляделся и стремглав кинулся за дверь, чтобы опорожнить желудок. Я пошел за ним следом, чтобы поддержать его.

— Что ты там говорил насчет боевого крещения? — спросил он, прислонившись к стене.

— Та еще выдалась рождественская ночь, но, уверяю тебя, ты держался прекрасно.

— Я вел себя как последнее дерьмо, ты хочешь сказать. Я хлопнулся в обморок, меня вывернуло наизнанку — для студента-медика просто прекрасно!

— Если тебя это утешит, я потерял сознание, когда в первый раз вошел в анатомичку.

— Спасибо, что предупредил, у меня первое занятие в анатомичке в следующий понедельник.

— Все будет хорошо, вот увидишь.

Люк ожег меня взглядом.

— Да нет, ничего хорошего. Я месил тесто, а не свежую плоть, резал хлеб, а не окровавленные рубашки и брюки, и главное — никогда не слышал, чтобы бриошь надсадно кричала, когда я втыкал в нее нож. Что-то я уже не уверен, что создан для этого, старина.

— Люк, большинству студентов-медиков знакомы такие сомнения. Со временем привыкнешь. Ты даже не представляешь, как это отраднo — кого-то вылечить.

— Я лечил людей шоколадными булочками, и, могу тебя заверить, это всегда помогало, — сказал Люк, снимая халат.

Позже, утром, я застал его дома. Он разбирал сумку, со злостью рассовывая вещи в отведенные ему ящики комода.

— В первый раз моя сестренка встретила Рождество без меня. Что я скажу ей по телефону, как объясню свое отсутствие?

— Правду, старина. Расскажи, как ты провел эту ночь, все как есть.

— Моей одиннадцатилетней сестренке? Ну ты скажешь!

— Ты посвятил Рождественскую ночь помощи людям, попавшим в беду. В чем же твоя семья может тебя упрекнуть? И потом, ты сам мог быть в том автобусе, так что кончай жаловаться.

— А мог быть дома! Я задыхаюсь здесь, задыхаюсь в этом городе, в аудитории, в этих учебниках, которые приходится глотать день и ночь!

— Может, скажешь, что не так? — спросил я Люка.

— Аннабель — вот что не так. Я мечтал о романе, ты не представляешь, как мечтал. Сколько раз отец призывал меня к порядку и говорил, что я витаю в облаках, а я тем временем воображал себя с девушкой. А теперь, когда это произошло, у меня только одно желание — снова стать холостяком. Я ведь даже злился на тебя за то, что ты не принимаешь всерьез отношения с Софи. Еще когда я в первый раз увидел ее у твоей мамы, мне подумалось, что ты этой девушке не заслуживаешь.

— Спасибо.

— Извини, но я же видел, что ты на нее едва смотришь. Такая девушка, не понимаю я тебя!

— Ты даешь мне понять, что равнодушен к Софи?

— Не дури, будь это так, я бы тебе прямо сказал. Просто я ничего больше не понимаю. Мне скучно с Аннабель, правда скучно. Она так серьезно к себе относится и смотрит на меня свысока, потому что я вырос в провинции.

— Откуда такие выводы?

— Она уехала на праздники к своим, я предлагал поехать с ней, но понял, что ей совсем не хочется знакомить меня с родителями. Мы с ней из разных кругов.

— А ты не драматизируешь? Может быть, она просто испугалась такого серьезного шага? Представить парня своей семье — это не шутки, это что-то значит, знаменует этап в отношениях.

— Ты думал обо всем этом, когда привез Софи к своей маме?

Я молча посмотрел на Люка. Нет, ни о чем таком я и не помышлял, когда неожиданно для самого себя предложил Софи поехать со мной, и только теперь задумался о том, какие она могла из этого сделать выводы. Мой эгоизм и моя глупость вполне оправдывали холодок в ее отношении ко мне с начала осени. Я даже ничего не предложил ей на Рождество. Наша любовь-дружба увядала, и только я один этого не замечал. Оставив Люка наедине с мрачными мыслями, я бросился к телефону и позвонил Софи. Никто не ответил. Может быть, увидев мой номер на определителе, она не захотела снимать трубку?

Я позвонил маме и извинился, что не смог приехать. Мама сказала, чтобы я не беспокоился, она все понимает. Наши подарки могут подождать, она постарается в этот раз приехать ко мне пораньше, не весной, а в феврале.

* * *

В новогоднюю ночь я дежурил — поменялся, чтобы освободить Рождество, и прогадал. Люк уехал к своим. Софи по-прежнему не давала о себе знать. Я сидел в кресле в тамбуре отделения «Скорой помощи» и ждал, когда поступят первые гуляки. В эту ночь у меня случилась весьма необычная встреча.

Старую даму привезла пожарная бригада. Ее внесли на носилках, и меня удивило ее сияющее лицо.

— Что вас так радует? — спросил я, измеряя ей давление.

— Это сложно объяснить, вы не поймете, — хихикнула она.

— Все же дайте мне шанс!

— Уверю вас, вы сочтете меня сумасшедшей.

Старушка привстала и внимательно посмотрела на меня.

— Я вас узнала! — воскликнула она.

— Вы, наверно, ошибаетесь, — ответил я, думая, не направить ли ее на сканирование.

— Вы, конечно, решили, что я выжила из ума, и собрались меня всерьез обследовать. А ведь если кто из нас не в своем уме, так это вы, дорогой.

— Вам виднее!

— Вы живете на пятом справа, а я прямо над вами. Ну что, молодой человек, кто из нас рассеянее?

С первого курса я опасался, что однажды в сходных обстоятельствах столкнусь с моим отцом. В эту ночь я встретил соседку — не в подъезде и не на лестнице, а в отделении «Скорой помощи». Пять лет я жил в этом доме, пять лет слышал ее шаги над головой, свист ее чайника по утрам, стук ее окон и ни разу не задумался, что за человек живет рядом со мной. Люк прав, большие города сводят с ума, они высасывают душу и выплевывают пустую оболочку.

— Не смущайтесь, мой мальчик. Вы ничем мне не обязаны: я ни разу не принимала за вас посылки или письма, а потому вам незачем было ко мне заходить. Мы лишь несколько раз сталкивались на лестнице, но вы так быстро бегаєте, что рискуете потерять свою тень между этажами.

— Странно, что вы мне это говорите, — ответил я, рассматривая ее зрачки в свете лампы.

— Что тут странного? — удивилась она, сощурившись.

— Ничего. Может быть, все-таки скажете, что вас так радует?

— Ну нет, тем более не скажу теперь, когда я знаю, что вы мой сосед. Кстати, я хотела бы попросить вас об одной услуге.

— Все, что пожелаете.

— Если б вы намекнули вашему приятелю, что неплохо бы убавить звук, когда он развлекается со своей подружкой, я была бы вам очень признательна. Я ничего не имею против забав молодых, но в моем возрасте сон, увы, слишком чуток.

— Если вас это утешит, вряд ли вы еще их услышите: насколько я понял, дело у них идет к разрыву.

— А, — задумчиво протянула старушка, — мне очень жаль. Ну что ж, если со мной все в порядке, я могу уйти домой?

— Нет, придется оставить вас под наблюдением, я обязан.

— Что вы собираетесь наблюдать?

— Вас!

— Не стоит терять время, я сама вам все скажу. Я, женщина преклонных лет (сколько мне — вас не касается), поскользнулась на кухне. Наблюдать тут нечего, надо просто перевязать мне лодыжку. Видите, она раздувается на глазах.

— Отдохните пока, мы сделаем вам рентген, и, если перелома нет, я сам провожу вас домой после дежурства.

— По-соседски даю вам три часа, не больше. Иначе доберусь сама.

Я выписал направление на рентген, поручил пациентку санитару и вернулся к работе. Новогодние ночи — худшие для отделения «Скорой помощи», с половины первого начинают поступать больные. Алкоголь и чересчур обильная пища — никогда не пойму, почему для многих именно в этом состоит праздник.

Соседку я снова увидел под утро, она сидела в кресле на колесах с сумкой в руках и забинтованной ногой.

— Хорошо, что вы выбрали медицину, потому что шофера из вас бы не вышло. Теперь вы меня проводите?

— Я заканчиваю через полчаса. Нога болит?

— Вывих, тут и врачом быть не надо. Будьте так добры, принесите мне кофе из автомата, тогда я готова вас подождать, но недолго.

Я сбегал к автомату и принес ей кофе. Она пригубила напиток, поморщилась и вернула мне стаканчик, показав на стоявшую у колонны урну.

Приемный покой опустел. Я снял халат, забрал из гардероба пальто и выкатил кресло на улицу.

Я ловил такси, когда водитель «скорой помощи» узнал меня и спросил, куда нам ехать. Его дежурство тоже закончилось, он любезно согласился нас подвезти и даже великодушно помог мне поднять соседку по лестнице. К шестому этажу мы оба выбились из сил. Старушка протянула мне ключи. Водитель оставил нас, а я усадил соседку в кресло.

Я обещал, что найду и принесу все, что ей может понадобиться: с вывихнутой лодыжкой лучше некоторое

время не выходить даже на лестницу. Нацарапав на бумажке свой телефон, я положил его на виду на столик и взял с нее слово звонить, если что. Когда я был уже в дверях, она меня окликнула:

— Не очень-то вы любопытны: даже не спросили, как меня зовут.

— Алиса, вас зовут Алиса, это записано в медицинской карте.

— Дата рождения тоже?

— Тоже.

— Досадно.

— Я не высчитывал.

— Вы галантны, но я вам не верю. Ну да, мне девяносто два года, и я знаю, что выгляжу всего на девяносто!

— Гораздо моложе, я был уверен, что вам...

— Замолчите! Что бы вы ни сказали, будет слишком много. И все-таки вы не любопытны, я ведь вам так и не объяснила, почему мне было весело, когда меня привезли в больницу.

— Я и забыл, — признался я.

— Ступайте-ка на кухню, кофе в шкафчике над раковиной. С кофеваркой обращаться умеете?

— Думаю, справлюсь.

— В любом случае не получится хуже той отравы, что вы принесли мне в больницу.

Я постарался как мог сварить приличный кофе и вернулся с подносом в гостиную. Алиса разлила напиток по чашкам и выпила свою без комментариев: кажется, испытание я выдержал.

— Так почему же вам было весело? — спросил я. — Упали, ушиблись — что тут веселого?

Алиса наклонилась к низкому столику и подвинула мне коробку с печеньем.

— Мои дети — вы не представляете, до чего мне с ними трудно! Их разговоры меня раздражают, а невестку и зятя я просто не выношу. Они только и делают, что жалуются, и ничем не интересуются, кроме своей убогой жизни. И не потому, что их плохо воспитали. Я была, представьте себе, учительницей словесности, но и сыну, и дочери, этим двум недоумкам, всегда нравились только цифры. Я хотела избежать встречи Нового года у невестки, это, скажу я вам, тяжкая повинность: она совершенно не умеет готовить, индюшка сама себя зажарила бы лучше. В общем, чтобы не ехать в их кошмарный загородный дом, я сказала, что подвернула ногу. Они все искренне сокрушались — не беспокойтесь, пять минут, не больше.

— А если бы кто-нибудь из них решил приехать за вами на машине?

— Исключено, мой сын и моя дочь состязаются в эгоизме с шестнадцати лет. Сейчас им на четыре десятка больше, но победитель так и не определился. И вот я была на кухне и как раз думала, что к их возвращению придется мне перевязать ногу, чтобы все выглядело правдоподобно, — и тут, представьте себе, поскользнулась! Без четверти двенадцать приехали пожарные, и я даже ухитрилась открыть им дверь. Шесть молодых красавцев у меня в гостях в новогоднюю ночь вместо невесткиной индюшки — я о таком и не мечтала! Они осмотрели меня и привязали к носилкам, чтобы снести по лестнице. Тут как раз пробило полночь, и я попросила старшего немного подождать. Спешить было некуда, я прекрасно себя чувствовала. Он согласился, я угостила их шоколадом, и мы подождали сколько нужно...

— Чего же вы ждали?

— А вы как думаете? Телефонного звонка! И в этом году мои птенчики друг дружку не переплунут. Когда мы приехали в больницу, я смеялась, глядя на свою ногу: она начала раздуваться еще в машине. Что ж, повязку я получила на законном основании.

Я помог Алисе лечь в постель, включил телевизор и оставил ее отдыхать. Вернувшись к себе, я тотчас кинулся к телефону, чтобы позвонить маме.

5

В январе стояла лютая стужа. Люк вернулся от своих и с удвоенной энергией налег на учебу. Дома отец действовал ему на нервы, а сестренка проводила больше времени с игровой приставкой, чем с ним. По моей просьбе Люк навестил мою маму. Он нашел, что она неважно выглядит. Она передала ему письмо и рождественский подарок для меня.

«Мой родной,

я знаю, как ты занят работой. Ни о чем не жалею, я в рождественский вечер немного устала и легла пораньше. Сад, как и я, спит под зимним инеем. Кусты стоят все белые, это дивное зрелище. Сосед привез мне столько дров, что хватит выдержать осаду. По вечерам я разжигаю камин, смотрю на огонь и думаю о тебе, о твоей беспокойной жизни. Это навеивает столько воспоминаний! Теперь ты, наверно, лучше понимаешь, почему я иной раз приходила домой такая вымотанная, и, надеюсь, прощаешь мне те вечера, когда у меня не было сил с тобой поговорить. Я скучаю по тебе и хотела бы видеть тебя чаще, но я горда и счастлива, что ты нашел себе дело по душе. Я приеду повидать тебя в первые дни весны. Знаю, я обещала в феврале, но холода затягиваются, и я поостерегусь ехать: не хочу охрометь и оказаться твоей пациенткой. А если тебе удастся выкроить пару дней — хоть я и знаю, что это невозможно, — то я буду счастливейшей из матерей.

Начинается прекрасный год, в июне ты получишь диплом и поступишь в интернатуру. Ты сам это знаешь не хуже меня, но писать эти слова мне так отрадно, что я готова повторить их сто раз.

С новым счастливым годом, сынок!

Любящая тебя мама.

P. S. Если тебе не нравится цвет этого шарфа, ничего не поделаешь, поменять нельзя, я сама его связала. Он немного кривоват, это естественно, я взялась за вязанье в первый раз — и в последний, терпеть не могу это занятие».

Я развернул шарф и надел его на шею. Люк так и покотился со смеху. Шарф был фиолетовый и с одного конца шире, чем с другого. Но если завязать узлом, никто и не заметит. Этот шарф я носил всю зиму.

Софи объявилась в конце первой недели января. Я каждую ночь заходил к ней в отделение, но ее не было. Она сама пришла ко мне на дежурство, как только вернулась. Ее загар выделялся на фоне всеобщей бледности. Ей, объяснила она мне, надо было проветриться. Я повел ее ужинать в маленькое кафе напротив больницы.

— Где ты была?

— Как можешь догадаться, на солнышке.

— Одна?

— С подружкой.

— С кем это?

— У меня тоже есть подружки детства. Как поживает твоя мама?

Она слушала меня, не перебивая, довольно долго, а потом вдруг накрыла мою ладонь своей и пристально на меня посмотрела.

— Сколько времени мы с тобой вместе? — спросила она.

— Почему ты спрашиваешь?

— Ответь мне. Когда у нас все началось?

— Наверно, в тот день, когда встретились наши губы, — помнишь, я пришел к тебе на дежурство? — без колебаний ответил я.

Софи обиженно взглянула на меня.

— Когда я угостил тебя мороженым в парке? — предположил я.

Ее лицо еще больше помрачнело.

— Я хочу услышать точную дату.

Мне требовалось несколько секунд на размышление, но она не дала мне времени.

— Мы в первый раз были вместе два года назад, день в день. Ты этого даже не помнишь. Мы не виделись две недели и празднуем эту дату в паршивой забегаловке напротив больницы — только потому, что надо перекусить перед дежурством. Я больше не могу быть тебе то лучшей подругой, то любовницей. Ты готов служить всем на свете, жертвовать собой ради первого встречного, а я для тебя — буюк, спасительный в бурю и ненужный в хорошую погоду. Ты проявил больше внимания к Люку за пару месяцев, чем ко мне за два года. Признаешь ты это или нет, мы давно уже не на школьном дворе. Я только тень в твоей жизни, а ты в моей — нечто большее, и мне от этого больно. Зачем ты привез меня к своей матери, зачем мы поднимались на твой чердак? Зачем ты вообще впустил меня в свою жизнь, если я в ней всего лишь гостя? Сто раз я хотела тебя бросить, но сама никак не могу. Прошу тебя, окажи мне услугу, сделай это для нас обоих или, если ты думаешь, что у нас найдется нечто общее, пусть даже ненадолго, дай нам возможность прожить эту любовь.

Софи встала и вышла из кафе. Сквозь витрину я видел, как она ждет на тротуаре зеленого света, чтобы перейти улицу; моросил дождь, она подняла воротник куртки, и, поди знай почему, от этого невинного жеста меня неодолимо потянуло к ней. Я вывернул карманы, чтобы расплатиться по счету, и кинулся вдогонку. Мы поцеловались под ледяным дождем, и между поцелуями я попросил у нее прощения за то зло, которое ей причинил. Знай я заранее, попросил бы прощения и за зло, которое ей еще причиню, но этого я пока не знал, и желание мое было искренним.

Зубная щетка в стакане, немного одежды в шкафу, будильник на тумбочке у кровати, несколько книг — я оставил свою квартиру Люку и перебрался к Софи. Каждый день я забегал к себе на минутку — так моряк приходит на причал проверить швартовы. Каждый раз я заодно поднимался и на шестой этаж. Алиса чувствовала себя превосходно. Мы успевали немного поговорить, она рассказывала ужасы про своих детей, и это ее веселило. Я оставил инструкции Люку, чтобы он в мое отсутствие тоже заходил справиться, все ли у нее в порядке.

Однажды вечером, когда мы с ним случайно столкнулись у Алисы, она высказала весьма неожиданную мысль:

— Чем рожать детей, растить, воспитывать, лучше усыновлять их взрослыми: по крайней мере, было бы ясно, с кем имеешь дело. Вас обоих я бы выбрала не задумываясь.

Люк ошарашенно посмотрел на меня, а Алиса, довольная произведенным эффектом, продолжала:

— Не будем лицемерить, ты же говорил мне, что твои родители действуют тебе на нервы. Так почему же родители не имеют права испытывать то же самое по отношению к своему потомству?

У Люка отвисла челюсть. Я увел его на кухню и там объяснил с глазу на глаз, что Алиса обладает своеобразным чувством юмора. Не надо на нее обижаться, ее точит горе. Она все испробовала, чтобы достойно выдержать такую напасть, даже пыталась возненавидеть своих детей, но тщетно, ее любовь к ним все равно оказалась сильнее. Брошенная ими, она терпит смертную муку.

Это не Алиса открыла мне свой секрет: однажды утром, когда я был у нее, в гостиную заглянуло солнце, и наши тени на полу соприкоснулись.

* * *

В первых числах марта персонал отделения «Скорой помощи» созвали на общее собрание. В плитках навесных потолков был обнаружен асбест. Вызвали бригаду ремонтников для их замены; работы должны были занять три дня и три ночи. На это время отделение закрывалось, а пациентов направляли в другую больницу. По техническим причинам у персонала выдался свободный уик-энд.

Я сразу же позвонил маме, чтобы поделиться хорошей новостью: я смогу ее навестить, приеду в пятницу. Мама довольно долго молчала, а потом сказала, что ей очень жаль, но она давно обещала одной подруге съездить с ней на юг. Зима стояла суровая, и несколько дней на солнышке не могли им повредить. Поездку они запланировали несколько недель назад, гостиницу оплатили, билеты на самолет возврату не подлежат. Она не представляет себе, как теперь все отменить. Ей очень хотелось меня увидеть, ужасно глупо получилось, но она надеется, что я все пойму и не обижусь. Голос у нее был такой грустный, что я поспешил ее успокоить: я не только все понимаю, но и рад за нее, ей полезно сменить обстановку. Весна уже не за горами, и когда она придет, мы наверстаем упущенное.

В тот вечер Софи дежурила, я — нет. Люк вовсю готовился к экзаменам, и ему надо было помочь. Подкрепившись тарелкой макарон, мы сели за письменный стол, я в роли учителя, он — ученика. В полночь он швырнул учебник биологии в дальний угол комнаты. Все это я проходил: перед сессией на первом курсе тоже испытывал страшное напряжение и желание все бросить из страха перед неминуемым провалом. Я подобрал книгу и продолжал как ни в чем не бывало. Но у Люка был отсутствующий взгляд, и его состояние меня встревожило.

— Если я не сбегу отсюда хотя бы на два дня, то просто лопну, — сказал он. — Все, что от меня останется, я завещаю медицине. Первый человек-инкубатор, взорвавшийся изнутри, — науку это должно заинтересовать. Так и вижу себя на прозекторском столе в окружении студенток. Что ж, хотя бы молодые девочки потеряют мое хозяйство, прежде чем меня засыпят землей.

Из этой тирады я заключил, что моему другу и впрямь необходимо проветриться. Я обдумал ситуацию и предложил ему продолжить занятия где-нибудь за городом.

— Терпеть не могу коров, — угрюмо бросил он в ответ.

Наступило молчание; я не сводил глаз с Люка, а он по-прежнему смотрел отсутствующим взглядом в пустоту.

— Море, — сказал он наконец. — Я хочу увидеть море, далекий горизонт, бескрайний простор, пенные барашки, хочу услышать чаек...

— Думаю, я понял, — ответил я.

Ближайшее побережье находилось в трехстах километрах, единственный поезд туда шел со всеми остановками, и дорога занимала шесть часов.

— Возьмем напрокат машину, плевать, ухну на это мою санитарскую зарплату, я угощаю. Только очень прошу, увези меня к морю.

Когда Люк заканчивал свою мольбу, дверь открылась и в квартиру вошла Софи.

— У вас не заперто, — сказала она. — Я не помешала?

— Я думал, ты сегодня дежуришь.

— Я тоже так думала, кучу времени зря убила. Я перепутала день, и мне понадобилось целых четыре часа, чтобы сообразить, что нас в отделении двое. Как подумаю, что могла бы провести весь вечер с тобой!

— И правда, — кивнул я.

Софи пристально посмотрела на меня — выражение ее лица ничего хорошего не предвещало. Я пристально посмотрел на нее, безмолвно вопрошая, что не так.

— Ты уезжаешь на выходные к морю, я правильно поняла? О, не делай такое лицо, я не подслушиваю под дверь. Люк так орал, что на лестнице было слышно.

— Понятия не имею, — пожал я плечами. — Раз ты слышала наш разговор, то должна знать, что я еще не

дал ответа.

Люк поглядывал на нас, следя за нашим диалогом, точно зритель с трибуны на теннисном матче.

— Делай что хочешь. Если вы вознамерились провести уик-энд вместе, я найду чем заняться, за меня не беспокойся.

Люк, надо думать, догадался о вставшей передо мной дилемме. Он вскочил, бросился к ногам Софи и, обняв ее колени, принялся умолять. Помнится, подобный номер он проделал однажды, чтобы избежать наказания от мадам Шеффер.

— Я умоляю тебя, Софи, поедем с нами, не злись, не вини его, я знаю, что тебе хотелось провести эти два дня с ним, но он спасает мне жизнь. Кому нужна медицина, если ты не протянешь руку помощи человеку в опасности, особенно когда этот человек — я? Я умру, я задохнусь под учебниками, если вы не увезете меня отсюда. Сжался, поедем с нами, мне бы только на пляж, и вы меня не увидите, я стану невидимкой. Обещаю тебе, я буду держать дистанцию, не пророню ни слова, ты вообще забудешь о моем существовании. Два дня у моря, только вы вдвоем и моя тень. Ну скажи «да», прошу тебя, я плачу за прокат машины, за бензин и за гостиницу. Помнишь мои круассаны? Я испек их только для тебя одной. Я был с тобой незнаком, но уже знал, что мы поладим. Если ты скажешь «да», я испеку такие сластухи, каких ты в жизни не ела.

Софи опустила глаза и спросила очень серьезно:

— Для начала что это такое — сластухи?

— Лишний повод поехать, — встrepенулcя Люк, — ты не можешь пройти мимо моих сластухек! А если ты откажешься, этот болван тоже не поедет, и я не развеюсь, не смогу заниматься, провалю экзамены, в общем, моя карьера врача в твоих руках.

— Кончай дурачиться, — нежно проворковала Софи, помогая ему встать.

Она покачала головой и заключила, что мы — два сапога пара.

— Мальчишки! — вздохнула она. — Ладно, поехали к морю, а когда вернемся — чтоб непременно были сластухи.

Мы оставили Люка заниматься, договорившись, что он заедет за нами в пятницу утром.

Когда мы шли к дому Софи, она взяла меня за руку.

— Ты бы правда никуда не поехал, если бы я отказалась?

— А ты бы отказалась?

Открывая дверь своей квартирki, она сказала мне, что Люк все-таки единственный в своем роде.

6

Люк отыскал, наверно, самую дешевую машину в городе, какую только можно было взять напрокат. Это был старенький «универсал» с крыльями всех цветов радуги. Решетка на ржавом радиаторе отсутствовала, а передние фары явно страдали косоглазием.

— Ну и что, косит немного, — сказал Люк, видя, что Софи не решается сесть в эту грудy металлолома, — но мотор работает и тормоза как новенькие. Сцепление немного барахлит, но ничего, она привезет нас к цели. А внутри, как видите, просторно.

Софи предпочла заднее сиденье.

— А вы вдвоем садитесь вперед, — сказала она, с чудовищным скрипом закрыв дверцу.

Люк повернул ключ зажигания и обернулся к нам, сияя улыбкой. Он был прав, мотор заурчал ровно и

приятно.

Амортизаторы были древние, и при каждом повороте мы чувствовали себя словно на карусели. Через полсотни километров Софи взмолилась о пощаде, и пришлось остановиться у ближайшей бензоколонки. Она без церемоний вытурила меня назад, предпочитая попытать счастья на месте смертника, чем терпеть морскую болезнь, мотаясь от дверцы к дверце при каждом повороте руля.

Заодно мы заправились, съели по сэндвичу и покатали дальше.

Остальной путь я не помню. Вытянувшись на заднем сиденье, убаюканный тряской, я провалился в глубокий сон. Иногда приоткрывая глаза, я видел, что Софи и Люк увлеченно беседуют; их голоса тоже укачивали меня, и я снова засыпал.

Через пять часов Люк потряс меня за плечо: мы приехали.

Он припарковался перед фасадом старенькой гостиницы, такой же ветхой на вид, как и наша машина.

— Признаю, не четыре звезды, но коль скоро я обязался платить по счетам, это все, что я могу вам предложить, — сказал Люк, доставая наши сумки из багажника.

Мы проследовали за ним без комментариев. Хозяйка гостиницы, надо полагать, возглавила дело лет в двадцать, сейчас ей было на полсотни больше, и она идеально сочеталась с обстановкой. Я думал, что сейчас, не в сезон, мы будем единственными постояльцами, но увидел десятка полтора человек: свесившись с балкона, они с любопытством рассматривали вновь прибывших.

— Это постоянные клиенты, — сказала хозяйка, пожав плечами. — Местный дом престарелых лишился лицензии, вот мне и пришлось приютить всю эту славную компанию, не оставляя же их на улице. Вам повезло, один мой постоялец на той неделе умер, его комната свободна, идемте, я вас туда провожу.

— Да уж, нечего сказать, нам и правда повезло! — фыркнула Софи, ступив на лестницу.

Хозяйка вежливо попросила своих постояльцев освободить коридор, чтобы мы могли пройти.

Софи лучезарно улыбалась каждому. Если мы вдруг заскучаем по больнице, сказала она Люку, лучшего места и придумать нельзя.

— А откуда, по-твоему, я узнал адрес? — усмехнулся он. — Одна приятельница с первого курса дала, в каникулы она здесь подрабатывает.

Дверь под номером 11 открылась, и за ней оказалась комната с двумя кроватями. Мы с Софи повернулись к Люку.

— Обещаю вам быть как можно незаметнее, — извинился он. — Гостиница ведь для того, чтобы спать, верно? И потом, если хотите остаться наедине, я лягу в машине, вот и все.

Софи положила руку Люку на плечо и сказала, что мы приехали сюда, чтобы увидеть море, а все остальное не важно. Люк, успокоенный, предложил нам выбрать кровать.

— Ни ту ни другую, — процедил я, ткнув его локтем в бок.

Софи предпочла кровать подальше от окна и поближе к душе.

Мы бросили сумки, и она предложила больше здесь не задерживаться. Она проголодалась, и ей хотелось скорее увидеть морской простор. Люка долго уговаривать не пришлось.

Пляж находился в шестистах метрах. Хозяйка объяснила, как туда пройти, и нарисовала на бумажке план. По дороге, добавила она, есть закусочная, которая работает без перерыва.

— Я вас приглашаю, — объявила Софи, уже опьяневшая от долетавших до нас морских брызг.

И тут, когда мы вышли на главную улицу, меня посетило ощущение дежавю: я мог бы поклясться, что уже был здесь раньше. Я пожал плечами — все курортные городки похожи, видно, опять мое воображение играет со мной шутки.

Голодные Люк и Софи не насытились дежурным блюдом, и Софи, расщедрившись, заказала для всех десерт, крем-карамель.

Когда мы вышли из закуской, уже стемнело. До моря было недалеко, и мы, хотя мало что видели в потемках, решили все же пройтись по пляжу.

Дамба была едва освещена, три старых фонаря слабо мерцали на изрядном расстоянии друг от друга, а волнорез почти весь тонул во тьме.

— Вы чувствуете? — воскликнул Люк, раскинув руки. — Чувствуете, йодом пахнет? Наконец-то я избавился от больничной вони, запах дезинфекции преследует меня, с тех пор как я работаю санитаром. Я даже, было дело, шуровал в носу зубной щеткой, чтобы от него избавиться, все без толку. Но здесь — какое чудо! А плеск, вы слышите плеск волн?

Не дожидаясь ответа, Люк скинул ботинки и побежал по песку к полосе прибоя. Софи посмотрела ему вслед, подмигнула мне и, разувшись, припустила следом. Люк догонял отлив, крича что есть мочи. Недолго думая я тоже побежал. Луна стояла полная, и передо мной вытянулась моя тень. Огибая лужицу, я готов был поклясться, что видел в отблесках соленой воды силуэт маленькой девочки, которая смотрела на меня.

Я нагнал запыхавшихся Люка и Софи. Ноги у нас заледенели, Софи уже стучала зубами. Я обнял ее, растер ей спину. Пора было возвращаться. Мы так и шли через весь городок с ботинками в руках. Все постояльцы нашей гостиницы уже спали, и по лестнице мы поднимались на цыпочках.

Софи приняла душ и, юркнув под одеяло, тотчас уснула. Люк посмотрел на нее, спящую, кивнул мне и погасил свет.

* * *

Наутро мысль о завтраке в гостинице привела нас в уныние. Обстановка в зале была не самая веселая, а звуки, сопровождавшие трапезу, малоаппетитны.

— Это входит в стоимость, — уговаривал нас Люк.

Но, взглянув на вытянувшееся лицо Софи, с тоской смотревшей на тосты с маслом, он оттолкнул стул, велел нам ждать и скрылся в кухне. Через пятнадцать долгих минут постояльцы за столиками подняли головы, принюхиваясь к непривычному запаху. Наступила тишина, все старички, отодвинув тарелки, с живым интересом уставились на дверь.

Наконец появился Люк, перепачканный мукой, с корзинкой, полной оладий. Он обошел все столы, дал каждому по две штуки, затем, вернувшись к нам, положил три на тарелку Софи и сел.

— Стряпал из того, что нашлось, — сказал он. — Надо бы нам купить три пакета муки и столько же масла и сахара, я, кажется, исчерпал хозяйкины запасы.

Оладьи, вкусные, теплые, просто таяли во рту.

— Знаешь, не хватает мне этого, — вздохнул Люк, оглядевшись. — Я любил утром встречать в булочной первых клиентов с хорошим аппетитом. Посмотри вокруг, как они все счастливы, медицина в полном смысле слова тут ни при чем, но мне кажется, это им на пользу.

Я поднял голову — пансионеры лакомились от души. Давешняя тишина сменилась оживленными разговорами.

— У тебя золотые руки, — произнесла Софи с полным ртом, — в конце концов, может быть, это тоже медицина.

— Вот он, — Люк указал на старика, сидевшего прямо, точно кол проглотил, — мог бы быть Маркесом через несколько лет.

Все наши соседи были как минимум втрое старше нас. Среди этих веселых лиц — то там, то сям даже слышался смех — меня вдруг посетило странное чувство, будто я вернулся в школьную столовую, только мои одноклассники немного постарели.

— Пойдем посмотрим, как выглядит море днем, — предложила Софи.

Мы поднялись к себе в номер и, надев свитера и пальто, вышли из гостиницы.

На пляже мое вчерашнее ощущение подтвердилось: этот маленький курортный городок был мне знаком. В конце дамбы виднелся в утреннем тумане маяк, маленький заброшенный маячок, сохранивший верность моей памяти о нем.

— Ты идешь? — спросил меня Люк.

— Что?

— Там есть кафе, подальше, на пляже. Мы с Софи ужас как хотим настоящего кофе, в гостинице была просто бурда.

— Идите, я вас догоню, мне надо кое-что проверить.

— Тебе надо что-то проверить на пляже? Если ты боишься, что море убежит, обещаю тебе, оно вернется вечером.

— Ты можешь оказать мне услугу и не делать из меня дурака?

— Он еще и не в духе! Слушаюсь, ваш покорный слуга проводит мадам, пока месье будет считать ракушки. Что передать на словах?

Не слушая больше глупостей Люка, я подошел к Софи, извинился, что оставляю ее ненадолго, и пообещал скоро вернуться.

— Куда ты?

— Мне тут вспомнилось кое-что. Я на четверть часа, не больше.

— Что же тебе вспомнилось?

— Кажется, я уже приезжал сюда когда-то с мамой на несколько дней, которые очень много значили в моей жизни.

— И ты только сейчас это понял?

— Это было четырнадцать лет назад, и с тех пор я здесь не бывал.

Софи повернулась и, взяв под руку Люка, ушла, а я направился к дамбе.

Проржавевшая табличка по-прежнему висела на цепи. От «Вход воспрещен» уцелели только «о» и «е». Я перешагнул через цепь, толкнул дверь — разъеденного солью замка на ней уже не было — и полез по лестнице на смотровую площадку. Ступеньки как будто уменьшились, мне казалось, они были выше. Я поднялся под самый купол, стекла были целы, но черны от грязи. Я протер их руками и приник к двум появившимся кругам — эти два круга были словно бинокль, направленный в мое прошлое.

Моя нога за что-то зацепилась. На полу, под слоем пыли, я увидел деревянный ящичек. Я нагнулся и открыл его.

Внутри лежал старый-престарый воздушный змей. Каркас был цел, но крылья орла почти истлели. Я взял птицу в руки, погладил — очень осторожно, казалось, она вот-вот рассыплется. Потом я заглянул в ящичек, и у меня перехватило дыхание. Длинная дорожка песка изгибалась в форме половинки сердца. Рядом лежал свернутый листок бумаги. Я развернул его и прочел:

«Я ждала тебя четыре лета, ты не сдержал обещания, так и не приехал. Воздушный змей умер, я похоронила его здесь. Как знать, может быть, когда-нибудь ты его найдешь».

Внизу стояла подпись: «Клеа».

Сорок метров. Катушка была тщательно смотана. Я спустился на пляж, разложил змея на песке, скрепил

деревянные планочки. Проверил, крепок ли узел, размотал пять метров шпагата и побежал против ветра.

Крылья орла напряглись, он метнулся влево, вправо — и взмыл ввысь. Я пытался изобразить в воздухе змейки и восьмерки, но ветхий змей плохо слушался. Я ослабил шпагат, и он взлетел еще выше. Его тень плясала на песке, и этот танец пьянил меня. Я услышал смех — смех, звучащий из самой глубины моего детства, несравненный смех, похожий на звуки виолончели.

Где она теперь, моя наперсница одного лета, девочка, которой я без страха поверял все мои тайны, потому что она не могла их услышать?

Я зажмурился, мы бежали вдвоем, запыхавшись, увлекаемые парившим впереди орлом. Ты умела управляться с ним как никто, и часто прохожие останавливались, чтобы полюбоваться твоей ловкостью. Сколько раз я брал тебя за руку на этом самом месте? Что с тобой случилось? Где ты живешь? На каком пляже проводишь летние дни?

— Что это за игры?

Я и не слышал, как подошел Люк.

— Он играет с воздушным змеем, — отозвалась Софи. — Можно мне попробовать? — спросила она и потянулась к катушке.

Она завладела ею так быстро, что я не успел возразить. Воздушный змей сделал пируэт и спикировал вниз. Ударившись о песок, он сломался.

— Ой! Прости, — извинилась Софи, — я не умею.

Я бросился к упавшему змею. Стропы порвались, сломанные крылья бессильно повисли. Вид у змея был плачевный. Я присел на корточки и взял его в руки.

— Не делай такое лицо, ты, кажется, сейчас заплачешь, — фыркнула Софи. — Это всего лишь старый воздушный змей. Если хочешь, можем пойти купить тебе другой, новенький.

Я ничего не ответил. Наверно, потому, что рассказать ей о Клеа было бы предательством. Детская любовь — это свято, ее нельзя доверить никому. Она живет в вас, в потаенных глубинах души. Порой лишь воспоминание может вызвать ее на свет, пусть даже со сломанными крыльями. Я сложил змея и смотал шпагат. Потом, попросив Люка и Софи подождать меня, отнес его обратно на маяк. Поднявшись в башенку, я положил змея на место и попросил у него прощения. Знаю, глупо разговаривать со старым воздушным змеем, но так уж получилось. Я закрыл ящик и уж совсем по-глупому заплакал — ничего не мог с собой поделать.

Софи ждала меня на пляже, но я был не в состоянии с ней говорить.

— У тебя красные глаза, — тихо сказала она и обняла меня. — Это вышло нечаянно, я не хотела его ломать...

— Знаю, — ответил я. — Это была память, она мирно спала там, наверху, и не надо было ее будить.

— Я не понимаю, о чем ты, но тебя это, кажется, всерьез расстроило. Если хочешь рассказать, мы можем пройтись немного, вдвоем, только ты и я. С тех пор как мы пришли на этот пляж, у меня такое чувство, будто я тебя потеряла, ты где-то далеко.

Я поцеловал Софи и извинился. Мы пошли вдоль моря, одни, рука об руку, и шли так, пока нас не нагнал Люк.

Мы увидели его издали, он махал нам, крича что есть мочи, чтобы мы его подождали.

Люк — мой лучший друг; в то утро я в очередной раз в этом убедился.

Он подошел к нам, держа руки за спиной.

— Помнишь, как ты навернулся с велосипеда? — спросил он меня. — Ладно, освежу тебе память, неблагодарный ты человек. Твоя мама купила тебе желтый велосипед. Мы с тобой — ты на нем и я на своем старом — поехали кататься на косогор за кладбищем. Когда мы проезжали мимо ограды, уж не знаю, что ты

вздумал, может, хотел посмотреть, не гонится ли за нами призрак, в общем, ты обернулся — и угодил в выбоину. Перекувырнулся, как заправский циркач, и растянулся во весь рост.

— К чему ты все это рассказываешь?

— Помолчи, узнаешь. Переднее колесо погнулось, и это расстроило тебя еще больше, чем разбитые коленки. Ты твердил, что мама тебя убьет. Твоему велосипеду, мол, нет и трех дней, если ты придешь с ним домой в таком виде, она тебе этого никогда не простит. Она брала сверхурочные часы, чтобы купить его тебе. В общем, это была катастрофа.

Я вспомнил тот день. Люк тогда достал из притороченной к седлу сумочки с инструментами гаечный ключ — и поменял колеса. Колесо от его велосипеда подошло к моему. Поставив его, он сказал, что мама ничего не заметит. Отец починил Люку велосипед, и через день мы снова обменялись колесами. Мама и правда ничего не заметила.

— Ну наконец-то вспомнил! Ладно, только предупреждаю, это в последний раз, пора тебе уже вырасти!

И Люк показал то, что держал спрятанным за спиной: он протянул мне новенького воздушного змея.

— Это все, что я нашел в пляжном магазинчике, и тебе еще повезло, продавец сказал, что он у него последний, они давно уже ими не торгуют. Это сова, не орел, но нечего привередничать, тоже ведь птица, к тому же летает по ночам. Теперь ты доволен?

Софи собрала змея, протянула мне шпагат и сделала знак запускать. Я чувствовал себя немного смешным, но, когда Люк, скрестив на груди руки, притопнул ногой, понял, что меня подвергают испытанию. Я побежал, и воздушный змей взмыл в небо.

Он летал отлично. Воздушный змей — это как велосипед: не разучишься, даже если не прикасался к нему долгие годы.

Каждый раз, когда сова выписывала змейку или восьмерку, Софи хлопала в ладоши, и каждый раз я чувствовал себя немного обманщиком.

Люк присвистнул сквозь зубы и показал мне на дамбу. Все наши пятнадцать пансионеров сидели на каменном парапете и любовались воздушными пируэтами совы.

Мы вернулись в гостиницу вместе с ними, близился час отъезда. Воспользовавшись тем, что Люк и Софи поднялись сложить вещи, я расплатился по счету, добавив немного на пополнение запасов опустошенной утром кухни.

Хозяйка приняла деньги не моргнув глазом и спросила меня, понизив голос, не могу ли я добыть для нее рецепт оладий. Она просила его у Люка, но безуспешно. Я обещал, что попытаюсь выведать у него эту страшную тайну и пришлю ей рецепт по почте.

Тут ко мне подошел старик, что сидел так прямо за завтраком, тот самый, в котором Люк увидел воплощение Маркеса в преклонных годах.

— У тебя здорово получалось на пляже, мой мальчик, — сказал он.

Я поблагодарил его за комплимент.

— Я знаю, о чем говорю, воздушных змеев я продавал всю жизнь. Был у меня когда-то магазинчик на пляже. Что ты на меня так смотришь, как будто увидел призрак?

— Если я вам скажу, что когда-то давно вы подарили мне змея, вы поверите?

— Кажется, твоей подруге нужна помощь, — ответил старик, показывая на лестницу.

Софи спускалась по ступенькам с двумя сумками, своей и моей. Я взял их у нее из рук и понес в багажник машины. Люк сел за руль, Софи рядом.

— Поехали? — бросила она мне.

— Подождите меня минутку, я сейчас вернусь.

Я бросился назад. Старик уже сидел в своем кресле в гостиной перед телевизором.

— Немая девочка... вы ее помните?

Трижды просигналил гудок машины.

— Мне кажется, твои друзья торопятся. Приезжайте к нам еще как-нибудь, мы будем вам рады, особенно твоему другу: его олады — просто объедение.

Машина снова протяжно загудела, и я скрепя сердце ушел, во второй раз пообещав себе однажды вернуться в этот маленький курортный городок.

* * *

Софи мурлыкала мелодии, Люк подхватывал их и распевал во все горло. Двадцать раз он с обидой требовал, чтобы я присоединился к ним, двадцать раз Софи просила его оставить меня в покое. Через четыре часа пути Люк встревожился: стрелка уровня бензина резко пошла влево.

— Одно из двух, — озабоченно сообщил он, — или указатель сдох, или скоро нам придется толкать машину.

Еще через двадцать километров мотор зачихал и заглох всего в нескольких метрах от бензоколонки. Люк вышел и, похлопав по капоту, похвалил машину за доблесть.

Я залил полный бак. Пока Люк ходил купить воды и печенья, Софи подошла и обняла меня за талию.

— Сексуально смотришься с насосом, — усмехнулась она и, чмокнув меня в затылок, пошла за Люком в магазин. — Кофе хочешь? — спросила она, обернувшись. И, прежде чем я успел ответить, с улыбкой добавила: — Если решишь сказать мне, что не так, я все время здесь, рядом, хоть ты этого и не замечаешь.

Вскоре мы въехали в полосу дождя. Старенькие дворники едва справлялись, надоедливо скрежеща по стеклу. В город мы вернулись затемно. Софи крепко спала, и Люк не хотел ее будить.

— Что будем делать? — шепнул он.

— Не знаю; давай припаркуемся и подождем, когда она проснется.

— Не говорите глупостей, лучше отвезите меня домой, — пробормотала Софи, не открывая глаз.

Но Люк решил иначе и поехал к нашему дому. Нельзя, заявил он, поддаваться унынию воскресного вечера, а в дождь и вовсе надо удвоить бдительность. Мы втроем сумеем противостоять пессимизму конца уикэнда. Он обещал приготовить макароны, каких мы в жизни не едали.

Софи села и потерла глаза.

— Ладно, согласна на макароны, а потом отвезете меня домой.

Мы поужинали, сидя по-турецки на ковре. Люк уснул на моей кровати, а мы с Софи провели ночь у нее.

Когда я проснулся, она уже ушла. В кухне я нашел записку, подложенную под стакан на накрытом к завтраку столе.

Спасибо, что отвез меня к морю, спасибо за эти неожиданные два дня. Я хотела бы солгать тебе, сказать, что я счастлива, и ты бы мне поверил, но я не могу. Всего большее мне видеть, как ты одинок, когда я с тобой. Я на тебя не в обиде, но чем я заслужила, чтобы меня держали за дверь? Ты больше мне нравился, когда мы были друзьями. Я не хочу терять лучшего друга, мне слишком нужны его нежность, его искренность. Мне нужен ты — такой, каким ты был.

Позже, в столовой, ты расскажешь мне о своих днях, а я расскажу тебе о моих, и наша дружба возобновится с того момента, когда она закончилась. Но это случится немного позже... У нас получится, вот увидишь.

Когда будешь уходить, оставь ключ на столе.

Целую тебя.

Софи

Я сложил записку и спрятал ее в карман. Забрал из комода несколько своих вещей, кроме одной рубашки, к которой Софи приколотла бумажку с надписью: «Эту не бери, она теперь моя».

Оставив ключ от ее квартирки там, где она просила, я ушел, убежденный, что я последний дурак, — а может быть, даже первый.

* * *

Вечером я попытался дозвониться маме, мне надо было с ней поговорить, довериться ей, услышать ее голос. К телефону никто не подошел. Она ведь предупреждала меня, что уезжает. И говорила, когда вернется, но я забыл дату.

7

Прошло три недели. Встречаясь в больнице, мы с Софи оба чувствовали себя неловко, хотя усиленно делали вид, будто ничего не произошло. Нашу дружбу возродил глупый и неудержимый смех. Мы сидели в больничном саду, пользуясь короткой передышкой, и Софи рассказывала мне о приключившемся с Люком несчастье. В отделение скорой помощи одновременно привезли двух пострадавших. Люк с носилками спешил доставить одного из них в операционный блок. На повороте коридора ему пришлось резко отпрянуть, чтобы не столкнуться со старшей сестрой, и пациент соскользнул с носилок. Люк бросился на пол, чтобы смягчить его падение. Это удалось, но носилки упали прямо ему на голову. На лоб пришлось наложить три шва.

— Твой друг держался молодцом. Гораздо лучше, чем ты, когда разрезал себе скальпелем палец в прозекторской.

Я и забыл об этом происшествии, случившемся на первом курсе.

Теперь я понял, откуда взялась у Люка рана, которую я видел вчера. Он наплел мне, что его ударило дверью-вертушкой. Софи взяла с меня клятву не говорить ему, что она проболталась. Он ведь был ее пациентом: это она его зашивала и, стало быть, должна была хранить врачебную тайну.

Я пообещал, что ее не выдам. Софи встала, ей пора было на дежурство. Я окликнул ее, чтобы в свою очередь кое-что рассказать о Люке.

— Он к тебе равнодушен, ты знаешь?

— Знаю, — бросила она уходя.

Солнце ласково пригревало, мой перерыв еще не кончился, и я решил задержаться.

В сад вышла маленькая девочка, та самая, что играла в классики. За окном я видел ее родителей, они разговаривали в коридоре с заведующим отделением гематологии. Девочка направилась ко мне, на свой манер — шаг вперед, шаг в сторону; я понял, что она пытается привлечь мое внимание. Малышке хотелось что-то сказать, ее так и распирало.

— Я выздоровела, — гордо сообщила она.

Сколько раз я видел эту девочку в больничном саду, ни разу не задумавшись, чем, собственно, она больна.

— Меня отпустят домой.

— Я очень рад за тебя, хоть и буду немного по тебе скучать. Я привык видеть тебя в этом саду.

— А тебя скоро отпустят домой?

Сказав это, девочка рассмеялась, и смех ее был похож на звуки виолончели.

Есть вещи, которые мы оставляем позади, моменты жизни, увязшие в пыли времени. Можно пытаться их забыть, но эти мелочи, связанные одна с другой, прочной цепью приковывают вас к прошлому.

Люк приготовил ужин и ждал меня, сидя в кресле. Едва войдя, я склонился над его раной.

— Ну-ну, кончай строить из себя доктора, я знаю, что ты знаешь, — сказал он, оттолкнув мою руку. — Ладно, даю тебе пять минут, чтобы надо мной покуражиться, и хватит, поговорим о чем-нибудь другом.

— Та машина, на которой мы ездили к морю, — ты сможешь взять ее напрокат для меня?

— Куда ты собрался?

— Туда же, к морю.

— Ты голоден?

— Да.

— Это хорошо, потому что, если хочешь, чтобы я приготовил поесть, ты расскажешь мне, зачем тебе понадобилось туда возвращаться. А если предпочитаешь напустить туману, закусочная на бензозаправке еще открыта. В этот час при большом везении там можно разжиться сэндвичем.

— Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал?

— Что с тобой случилось там, на пляже? Мне не хватает моего лучшего друга. Ты и всегда, скажем так, витал где-то далеко, и я всегда с этим мирился. Но сейчас, уверяю тебя, стало просто невыносимо. Тебе досталась лучшая девушка на свете, а ты сваял такого дурака, что после того злополучного уик-энда она тоже где-то витает.

— Ты помнишь, как я ездил с мамой на каникулы к морю?

— Да.

— Помнишь Клеа?

— Помню, как ты говорил, когда вернулся, что тебе теперь плевать на Элизабет, что ты встретил родственную душу и что она однажды станет женщиной твоей жизни. Но мы были детьми — это ты, надеюсь, помнишь? Ты думал, она ждала тебя в этом курортном городке? Вернись на землю, старина. Ты повел себя с Софи как идиот.

— Тебя это должно устраивать, разве нет?

— Ты хочешь поссориться?

— Я всего лишь попросил тебя помочь мне взять напрокат машину.

— Ты найдешь ее в пятницу у подъезда, ключи я оставлю на столе. В холодильнике есть запеканка, можешь разогреть. Спокойной ночи, я пойду пройдусь.

Хлопнула дверь. Я выглянул в окно, чтобы позвать Люка и извиниться. Несколько раз я прокричал его имя, но он не обернулся и скрылся за углом.

* * *

Я взял дежурство на пятницу, чтобы освободиться в субботу утром. Вернувшись домой под утро, я нашел на столе ключи от «универсала», как и обещал Люк.

Быстро приняв душ и переодевшись, я выехал около одиннадцати. Останавливался по дороге только заправиться. Указатель уровня топлива действительно приказал долго жить, и мне приходилось подсчитывать расход бензина, чтобы вовремя зарулить к бензоколонке. Оно и к лучшему: подсчеты занимали голову. С самого отъезда меня преследовало неприятное ощущение: на заднем сиденье чудились тени Люка и

Софи.

Около пяти я подкатил к семейному пансиону. Хозяйка удивилась моему визиту и рассыпалась в извинениях: комната, в которой мы останавливались, занята новым жильцом и больше свободных нет. Но я и не собирался здесь ночевать. Я объяснил, что приехал ненадолго, поговорить с одним из ее постояльцев, стариком с прямой спиной, у меня, мол, есть к нему один вопрос.

— Вы проделали такой путь ради одного вопроса? А вы знаете, что у нас есть телефон? Месье Мортон всю жизнь простоял за прилавком, вот почему он держится так прямо. Вы найдете его в гостиной, он целыми днями сидит там, почти никогда не выходит.

Я поблагодарил хозяйку, нашел месье Мортон и сел перед ним.

— Добрый день, молодой человек, чем могу быть вам полезен?

— Вы меня не помните? Я приезжал сюда недавно, с девушкой и моим лучшим другом.

— Не припоминаю. Когда, вы говорите, приезжали?

— Три недели назад. Люк испек вам оладьи на завтрак, они всем очень понравились.

— Я люблю оладьи, вообще сладкое люблю. А вы кто?

— Помните, я запускал на пляже воздушного змея, вы сказали, что у меня неплохо получается.

— Воздушные змеи... я продавал их когда-то, знаете ли. Был у меня магазинчик на пляже. Я еще много чего продавал: надувные круги, удочки... рыбы здесь нет, но их все равно покупали. И кремы для загара тоже... Курортников я на своем веку перевидал всех мастей... Добрый день, молодой человек, чем могу быть вам полезен?

— Когда я был маленьким, я однажды провел здесь десять дней. Со мной играла девочка, я знаю, что она приезжала сюда каждое лето, это была девочка не такая, как все... глухонемая.

— Еще я продавал зонтики и открытки, их крали много, открытки-то, я и махнул на них рукой. В конце недели у меня всегда оставались лишние марки. Детишки их таскали... Добрый день, молодой человек, чем могу быть вам полезен?

Я уже отчаялся добиться толку, когда к нам подошла пожилая дама.

— Вы ничего не вытянете из него сегодня, у него плохой день. Вчера-то он мало-мальски соображал. Видите ли, с головой у него не в порядке — то лучше, то хуже. Я знаю, о какой девочке идет речь, у меня-то память прекрасная. Вы говорите о маленькой Клеа, я хорошо ее знала, но, представьте себе, она была вовсе не глухая.

Я изумленно раскрыл рот, а дама продолжала:

— Я бы вам все это рассказала, но я проголодалась, а на пустой желудок и разговор не клеится. Если бы вы пригласили меня выпить чаю в кондитерской, там бы мы и побеседовали. Я пойду возьму пальто, вы не против?

Я помог старой даме надеть пальто и, подлаживаясь под ее шаг, повел в кондитерскую. Усевшись на террасе, она попросила у меня закурить. У меня не было сигарет. Скрестив на груди руки, дама выразительно посмотрела на табачный киоск напротив.

— Светлые сойдут, — напутствовала она меня.

Я вернулся с пачкой сигарет и спичками.

— Через полгода я буду врачом, — сказал я, протягивая их ей. — Если бы мои преподаватели увидели, что я вам даю, досталось бы мне на орехи.

— Если вашим преподавателям нечего делать, кроме как надзирать за нами в этой дыре, я бы вам рекомендовала сменить институт, — ответила она, чиркнув спичкой. — Не так много мне осталось. Почему,

спрашивается, все так и норовят лишить нас последних удовольствий? Нельзя пить, нельзя курить, нельзя жирного и сладкого, они хотят, чтобы мы прожили подольше, но этак отобьют у нас всякий вкус к жизни, эти умники, которые думают за нас. Ах, как мы были свободны в ваши годы, убивали себя ускоренно, ясное дело, но ведь и жили. Так что уж позвольте мне в вашем приятном обществе наплевать на медицину, и, если вы не возражаете, я бы съела хорошую ромовую бабу.

Я заказал ромовую бабу, кофейный эклер и две чашки горячего шоколада.

— Да, маленькая Клеа, еще бы мне ее не помнить. У меня был тогда книжный магазин. Видите, что случается с торговцами? Обслуживаешь людей год за годом, а как выйдешь на пенсию, никто о тебе и не вспомнит. Сколько я перед ними рассыпалась — здравствуйте, до свидания, спасибо. Два года, как отошла от дел, — хоть бы кто-нибудь навестил. В нашем-то захолустье... По-вашему, они думают, я улетела на луну? Она была такая милая, маленькая Клеа. Детей я перевидала всяких, и невоспитанных тоже, заметьте, яблоко от яблони недалеко падает. Ей-то было простительно не говорить «спасибо», у нее была веская причина, так что ж вы думаете — она мне «спасибо» писала. Она часто приходила в магазин, смотрела книги, выбирала какую-нибудь, садилась в уголке и читала. Мой муж тоже любил эту малышку, он откладывал книги специально для нее. Уходя, она доставала из кармана бумажку, на которой было написано ее рукой: «Спасибо, мадам, спасибо, месье». Невероятно, но представьте — она вовсе не была ни глухой, ни немой. Да-да, маленькая Клеа страдала такой формой аутизма, у нее что-то заклинило в голове. Она все слышала, только сказать не могла. И знаете, что ее освободило из этой тюрьмы? Музыка.

Вы, наверно, думаете, не сочинила ли я все это ради пачки сигарет и ромовой бабы? Успокойтесь, до такого я еще не дошла. Через несколько лет, может, с меня и станется, но я бы хотела, чтобы Бог прибрал меня раньше. Я не хочу уподобиться продавцу с пляжа. Что поделаешь, это не его вина, я бы тоже на его месте выжила из ума. Когда вы всю жизнь положили на то, чтобы вырастить детей, и ни один из них вас никогда не навестит, даже позвонить не удосужится, есть от чего спятить — захочется стереть все из памяти начисто. Но вам интересно не про него, а про маленькую Клеа. Я вот говорила о неблагодарности клиентов, всех этих людей, которых ты всю жизнь обслуживала, а они теперь делают вид, будто не узнают тебя на улице, — все-таки зря я обобщаю. В день, когда опустили в землю моего мужа, она была на похоронах. Да-да, говорю вам, пришла сама. Я не узнала ее, в свое оправдание могу сказать, что она очень выросла, как, впрочем, и вы. Я ведь знаю, кто вы, мальчик с воздушным змеем! Знаю, потому что каждый год, когда маленькая Клеа приезжала сюда, она приходила ко мне и протягивала бумажку с вопросом: не приехал ли мальчик с воздушным змеем? Это ведь вы, не правда ли? На похоронах моего мужа она шла в конце процессии, такая тоненькая, такая скромная. Я ломала голову, кто она, и представьте себе мое изумление, когда она подошла и, склонившись к моему уху, сказала: «Это я, Клеа, мне так жаль, мадам Пушар, я очень любила вашего мужа, он был так добр ко мне». У меня и без того глаза были на мокром месте, а тут слезы хлынули ручьем. Ох, вот рассказываю вам об этом и уже чуть не плачу.

Мадам Пушар вытерла глаза тыльной стороной ладони. Я протянул ей носовой платок.

— Она крепко обняла меня, а потом уехала. Триста километров туда да триста обратно, только чтобы проститься с моим мужем. Она теперь музыкантша, ваша Клеа. Но я перескакиваю с одного на другое, извините. Постойте, я соберусь с мыслями. Так вот, в то лето, когда вы не приехали, маленькая Клеа попросила у своих родителей невозможного: она хотела играть на виолончели. Вообразите лицо ее матери! Вы представляете себе, каково ей было? Ваш глухой ребенок вздумал учиться музыке — это все равно что произвести на свет безногого, который захотел бы стать канатоходцем. Книги она теперь выбирала только о музыке, и ее родители, когда приходили за ней, с каждым разом все больше расстраивались. Папа Клеа первый набрался мужества и сказал своей жене: «Если она и вправду этого хочет, надо найти способ этого добиться». Они отдали ее в специальную школу: там один преподаватель давал детям слушать музыкальные вибрации, вешая наушники им на шею. Воистину, нет предела прогрессу! Я вообще-то против всего этого, но в данном случае, должна признать, занятия пошли ей на пользу. Преподаватель начал разучивать с Клеа ноты по партитурам — и вот тут-то случилось чудо. Клеа, которая никогда не могла слова выговорить, произнесла «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до» совершенно как нормальный человек. Гамма выскочила у нее изо рта, словно поезд из туннеля. И, скажу я вам, пришел черед ее родителей лишиться дара речи. Клеа училась музыке, она начала петь, на ноты наложились слова. Благодаря виолончели она вырвалась из темницы. Побег с виолончелью — это, знаете ли, не каждому дано!

Мадам Пушар помешала ложечкой шоколад, пригубила и поставила чашку на блюдце. Мы помолчали, оба во власти воспоминаний.

— Она поступила в Государственную консерваторию, там и учится. Если вы хотите ее найти, я бы на вашем

месте для начала наведальась туда.

Я обеспечил мадам Пушар запасом печенья и шоколадок, мы вместе перешли через улицу и купили ей блок сигарет, и я проводил ее в пансион. Прощаясь, я обещал, что приеду летом и поведу ее гулять на пляж. Старушка посоветовала мне вести машину осторожно и пристегивать ремень. В мои годы, добавила она, еще стоит поберечь себя.

Я выехал в сумерках, провел за рулем большую часть ночи и приехал как раз вовремя, чтобы вернуть машину и заступить на дежурство.

* * *

Сразу после возвращения я сменил белый халат на костюм детектива. Консерватория находилась довольно далеко от больницы, на площади Оперы, туда можно было добраться на метро с двумя пересадками. Здание консерватории стояло прямо за театром. Проблема заключалась в моей вечной занятости. Приближалась сессия, между занятиями и дежурствами я если и мог выкроить свободный часок, то лишь поздно вечером. Только через десять дней я сумел попасть в консерваторию до закрытия, да и то двери уже начали запира́ть, хоть я и бежал что было сил по переходам метро. Сторож предложил мне прийти завтра, но я упрямился и попросил его впустить меня. Мне непременно надо было попасть в секретариат.

— В этот час там уже никого нет. Если вы хотите подать документы, приходите до пяти.

Я признался, что пришел не за этим. Я студент-медик, а привела меня сюда надежда найти одну девушку, для которой музыка много значит (смысл жизни которой — музыка). Консерватория — моя единственная ниточка, и мне необходимо навести справки.

— А вы на каком курсе? — спросил сторож.

— Осталось несколько месяцев до интернатуры.

— Тогда вашей квалификации хватит, чтобы посмотреть горло. Оно у меня уже два дня огнем горит при глотании, а пойти к врачу нет ни времени, ни денег.

Я охотно согласился осмотреть его. Он впустил меня, и я его осмотрел у него в камерке. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы поставить диагноз: ангина. Я предложил ему зайти завтра ко мне в отделение «Скорой помощи»: я выпишу рецепт, и он сможет приобрести антибиотики в больничной аптеке. Благодарный за услугу, сторож спросил меня, как зовут ту, кого я ищу.

— Клеа, — ответил я.

— Клеа, а дальше?

— Я знаю только ее имя.

— Вы, надеюсь, шутите.

Выражение моего лица говорило обратное.

— Послушайте, доктор, вы помогли мне, и я бы очень хотел помочь вам, но поймите, в консерваторию поступают две сотни студентов каждый год, некоторые учатся всего несколько месяцев, другие — годы, есть и такие, что продолжают учебу в других учебных заведениях, филиалах консерватории. Только за последние пять лет в наши реестры записано больше тысячи человек, и не по именам, а по фамилиям. Это будет труд Золушки — искать вашу... как бишь ее?

— Клеа.

— Да, но, увы, Клеа без фамилии... я ничем не могу вам помочь, уж простите.

Я ушел, досадуя ничуть не меньше, чем радовался, когда сторож согласился впустить меня.

Клеа без фамилии. Вот чем ты была в моей жизни, девочка из детства, ставшая сегодня взрослой, дорогое воспоминание, обет, который не исполнило время. Я шел по переходам метро и видел, как ты бежишь впереди меня по дамбе, крутя над головой воздушного змея; Клеа без фамилии, но рисовавшая в небе идеальные

восьмерки и змейки. Девочка, чей смех похож на звуки виолончели, чья тень звала меня на помощь, не выдав своей тайны; Клеа без фамилии, написавшая мне: «Я ждала тебя четыре лета, ты не сдержал обещания, так и не приехал».

Дома я застал Люка, который все еще дулся на меня. Он спросил, почему я такой бледный. Я рассказал о своем визите в консерваторию и объяснил, почему вернулся несолоно хлебавши.

— Ты завалишь сессию, если так будет продолжаться. Ты же только об этом и думаешь, только о ней. Ты так свихнешься, гоняясь за призраком, старина.

Я вяло возразил, что он преувеличивает.

— Я тут прибрался немного, пока ты попусту тратил время. Знаешь, сколько бумаги я вытряхнул из корзины? Десятки листков, и это не конспекты и не химические формулы, а рисунки, и на них — одно и то же лицо. Ты неплохо владеешь карандашом, лучше бы использовал свой талант на эскизы по анатомии. Ты хоть сказал этому сторожу, что твоя Клеа играет на виолончели?

— Нет, как-то не подумал.

— Еще и тупой к тому же! — фыркнул Люк, опускаясь в кресло.

— Как ты узнал, что Клеа играет на виолончели. Я тебе этого не говорил.

— Десять дней я просыпаюсь под Ростроповича, ужинаю под Ростроповича и засыпаю тоже под Ростроповича. Мы с тобой больше не говорим, виолончель заменила нам разговоры, а ты спрашиваешь, как я догадался! Кстати, даже если ты разыщешь эту Клеа, кто сказал, что она тебя узнает?

— Если она меня не узнает, ничего не поделаешь.

Люк внимательно посмотрел на меня и вдруг грохнул кулаком по столу.

— Поклянись мне! Поклянись моей головой... нет, лучше поклянись нашей дружбой, что, если вы встретитесь и она тебя не узнает, ты поставишь крест на этой девушке раз и навсегда и снова станешь тем, кого я знал.

Я молча кивнул.

— Я завтра не работаю, зайду в больницу за антибиотиками и отнесу их от тебя сторожу в консерваторию, заодно, может, что-нибудь разведая, — пообещал Люк.

Я поблагодарил его и пригласил пойти куда-нибудь поужинать. Наши средства были ограничены, и в скромном ресторане вряд ли играла бы виолончель.

Мы расположились в ближайшем бистро и за ужином, пожалуй, выпили лишку. На обратном пути Люк присел на скамейку, не в силах совладать с головокружением, и поделился со мной своими трудностями. Он сказал, что дал маху, и тут же поклялся, что не нарочно.

— Какого еще маху?

— Позавчера я пришел обедать в столовую, там была Софи, и я подсел к ней за столик.

— Ну и?

— Она спросила меня, как ты поживаешь.

— И что ты ответил?

— Что ты поживаешь скверно. А когда она встревожилась, захотел ее успокоить. В общем, кажется, у меня вырвалась пара слов о твоих заботах.

— Ты, надеюсь, не сказал ей о Клеа?

— Имени не назвал, но поздно сообразил, что распустил язык. Я дал понять, что ты зациклился на поисках

твоей родственной души. Правда, сразу добавил со смехом, что тебе было двенадцать лет, когда ты ее встретил.

— А как реагировала Софи?

— Как Софи на все реагирует, ты должен знать лучше меня. Сказала, мол, надеется, что ты будешь счастлив, что ты этого заслуживаешь, что ты замечательный. Извини, зря я это. Только не подумай, что я ляпнул с задней мыслью. Я не так умен для этого. Я просто злился на тебя, вот и вырвалось.

— Почему ты на меня злился?

— Потому что Софи говорила мне все это искренне.

Я подставил Люку плечо и помог ему подняться по лестнице. Он был мертвецки пьян, я уложил его в кровать, а сам устроился на его тюфячке у окна.

* * *

Люк сдержал обещание. Назавтра после нашей попойки, несмотря на жестокое похмелье, он зашел в больницу, взял в аптеке антибиотики и отправился в консерваторию. Дар Люка вызывать симпатию у людей, от которых он чего-то ждет, — для меня загадка. Никто не может перед ним устоять.

Люк вручил сторожу лекарства, разговорился с ним о его работе, выслушал несколько историй из жизни и за час добился разрешения посмотреть списки студентов консерватории. Сторож усадил его за стол, и Люк приступил к поискам с дотошностью профессионального сыщика.

Он выбрал два журнала за те годы, когда скорее всего могла поступить Клеа. Изучил в них каждую страницу, скрупулезно, с линейкой, читая фамилии. Ближе к вечеру он остановился на строчке, в которой значилось: Клеа Норман, первый курс, классическое отделение, инструмент — виолончель.

Сторож разрешил Люку заглянуть в ее личное дело, а тот обещал принести ему еще лекарств, если его горло за несколько дней не пройдет.

* * *

День подходил к концу, и я, воспользовавшись затишьем в отделении, пошел подкрепиться в кафе напротив больницы, когда появился Люк. Он сел за мой столик, взял меню и, даже не поздоровавшись, заказал закуску, основное блюдо и десерт.

— Ты угощаешь, — сказал он, отдав меню официантке.

— Это в честь чего? — спросил я.

— Потому что такого друга, как я, ты больше не сыщешь, поверь мне.

— Ты что-нибудь нашел?

— Если я скажу, что у меня есть два билета на футбол в субботу, ты, думаю, отмахнешься? И правильно сделаешь, потому что в субботу твоя Клеа играет в театре мэрии. Дворжак, концерт для виолончели и восьмая симфония. Мне удалось раздобыть для тебя билет в третий ряд, сможешь увидеть ее совсем близко. Извини, что я с тобой не пойду, но виолончелью я сыт на ближайшие сто лет.

* * *

Я полез в шкаф: надо было решить, как одеться для этого вечера. Выбор был невелик. Но не идти же на концерт в зеленых штанах и белом халате!

* * *

Продавщица в универмаге посоветовала мне голубую рубашку и темный пиджак, подходящий к моим фланелевым брюкам.

Театр мэрии оказался совсем маленьким: в зале не больше сотни кресел, расположенных полукругом, и сцена всего метров двадцать в длину. Столько же было и музыкантов в выступавшем в этот вечер ансамбле. Дирижер раскланялся под аплодисменты, с правой стороны кулис группой вышли исполнители. Мое сердце забилося чаще, гулко застучало даже в висках. Меньше чем за минуту все расселись по своим местам — слишком быстро, чтобы разглядеть силуэт той, кого я искал.

Зал погрузился во тьму, дирижер поднял палочку, и зазвучали первые ноты. Восемь женщин сидели во втором ряду ансамбля, и только одно лицо привлекло мое внимание.

Ты была такой, какой я себе представлял, — взрослой женщиной и еще красивее, чем прежде. Твои волосы падали на плечи и, кажется, немного мешали тебе, когда ты поднимала смычок виолончели. Я не мог распознать твою партию в концерте. Потом настал черед твоего соло, всего несколько взмахов смычка, несколько нот, которые я наивно счел предназначенными мне одному. Прошел час; я не сводил с тебя глаз ни на миг. А когда зал поднялся и зааплодировал, я крикнул «браво!» громче всех.

Мне показалось, что твой взгляд встретился с моим; я улыбнулся и неловко махнул тебе рукой. Ты раскланялась вместе со всеми музыкантами, и занавес опустился.

С лихорадочно бьющимся сердцем я пошел встретить тебя у служебного входа. Стоя в тупичке, я с нетерпением ждал, когда откроется железная дверь.

Ты появилась — черное платье, волосы стянуты красной лентой. Какой-то мужчина обнимал тебя за талию, и ты улыбалась ему. Я никогда не думал, что можно чувствовать себя таким раздавленным. Я увидел тебя с этим мужчиной, и твой взгляд, устремленный на него, был тем, который мечтал увидеть я в твоих глазах, когда ты смотрела на меня. Он выглядел рядом с тобой таким большим, а я таким маленьким в этом коридорчике. Я все бы отдал, чтобы быть этим мужчиной, но я был всего лишь собой, тенью того, кого ты любила, когда мы были детьми, тенью взрослого, которым я стал.

Поравнявшись со мной, ты на меня посмотрела. «Мы знакомы?» — спросила ты. Твой голос был чистым и звонким, таким, каким я слышал его, когда ты не могла говорить, каким звала меня на помощь твоя тень много лет назад. Я ответил, что просто пришел тебя послушать. Немного смутившись, ты спросила, хочу ли я автограф. Я что-то промямлил, ты попросила у своего друга ручку. Нацарапала свое имя на листке бумаги, я поблагодарил, и ты ушла под руку с ним. Удаляясь, ты обронила вслух, что обзавелась первым поклонником, и эта мысль тебя позабавила. Твой смех, донесшийся из конца коридора, больше не напоминал звуки виолончели.

* * *

Когда я вернулся, Люк ждал меня у подъезда.

— Я смотрел в окно, видел, как ты подошел, и решил, что с таким лицом лучше тебе не подниматься по лестнице одному. Думаю, все прошло не так, как ты надеялся. Мне очень жаль, но, знаешь, это было гиблое дело. Не переживай, старина. Идем, не стой так, давай пройдемся, тебе полегчает. Разговаривать не обязательно, но если есть желание, я здесь. Завтра, вот увидишь, боль отступит, а послезавтра ты и думать о ней забудешь, поверь мне, от любовных горестей больно только в первые дни, время все худо-бедно лечит. Идем, старина, не мучай себя попусту. Уже завтра ты будешь замечательным врачом. Она и не знает, мимо кого прошла, но, вот увидишь, ты еще найдешь ее, женщину твоей жизни. Не одни только Элизабет и Клеа на свете, ты заслуживаешь много лучшего.

* * *

Я сдержал данное Люку обещание, поставил крест на детстве и с головой ушел в учебу.

Вечерами мы иногда собирались втроем — Люк, Софи и я. Вместе готовились, мы с Софи — к интернатуре, а Люк — к летней сессии.

Экзамены мы все трое сдали успешно и отпраздновали это как полагается.

В это лето у нас с Софи не было каникул. Люк уехал на две недели к своим. Он вернулся в отличной форме, прибавив несколько килограммов.

Осенью приехала мама. Она привезла мне полный чемодан новых рубашек и извинилась, что не поднимется в квартиру навести порядок. Ходить по лестницам ей было тяжело, колени болели все сильнее. Когда мы пошли гулять вдвоем по набережным, я встревожился, видя, как тяжело она дышит. Она погладила меня по щеке и сказала, улыбаясь, что стареет и пора мне с этим смириться.

— С тобой это тоже однажды случится, — добавила она, когда мы заканчивали ужин в ее любимом ресторанчике. — Наслаждайся пока молодостью. Если бы ты знал, как быстро она пройдет!

И, как всегда, завладела счетом, прежде чем я успел до него дотянуться.

По дороге к ее гостинице она рассказывала мне о доме. Она затеяла ремонт в комнатах, это занимало ее, хотя требовало сил и чересчур, на ее взгляд, утомляло. Еще она сказала, что навела порядок на чердаке и нашла там для меня одну коробку. В следующий приезд мне надо туда подняться. Я попытался вывести больше, но мама напустила туману.

— Ты сам все увидишь, когда приедешь, — только и сказала она, целуя меня у дверей гостиницы.

На следующий день я проводил ее на вокзал. Она была сыта большим городом и предпочла сократить свой визит.

* * *

В дружбе некоторых вещей не говорят, о них догадываются. Люк и Софи проводили все больше времени вместе. Люк всегда находил предлог, чтобы пригласить ее присоединиться к нам. Это было похоже на то, как Элизабет то и дело пересаживалась поближе к Маркесу, с каждой неделей незаметно перемещаясь все дальше в конец класса. Правда, на этот раз я все понимал. Если не считать тех вечеров, когда Люк стряпал для нас, я видел его все реже. Интернатура занимала меня целиком, а он брал все больше часов работы санитаря, чтобы платить за учебу.

Иногда мы оставляли друг другу на столе записки, желая удачного дня или доброй ночи. Люк часто навещал нашу соседку с верхнего этажа. Однажды он услышал над головой глухой стук и, испугавшись, что она упала, кинулся вверх. Алиса чувствовала себя превосходно, она просто занялась уборкой, решив избавиться от всего, что напоминало ей о прошлом. В угол летели альбомы с фотографиями, папки, всевозможные сувениры, накопленные за целую жизнь, — все вон!

— С собой в могилу я это не унесу, — заявила она Люку, с радостной улыбкой открыв дверь.

Посмеявшись над царившим в квартире хаосом, Люк полдня помогал нашей соседке. Она наполняла пластиковые мешки, а он носил их к мусорным бакам.

— Нет уж, я не доставлю моим детям такого удовольствия, не желаю, чтобы они полюбили меня, когда я умру! Раньше надо было думать!

С того странного дня началась их дружба. Каждый раз, встречая соседку на лестнице, я здоровался, а она просила передать привет Люку. Люк был покорен ее сильным характером и порой даже покидал меня, чтобы провести часть вечера с ней.

* * *

Приближалось Рождество. Я попытался получить несколько дней отпуска, чтобы навестить маму, но заведующий отделением мне отказал.

— Слово «интерн» вам понятно? — ответил он на мою просьбу. — Когда станете штатным врачом, сможете отдыхать в праздники и, как я, будете назначать интернов себе на замену. Терпение и упорство, — добавил он назидательным тоном, — потрудитесь еще несколько лет, и вы тоже сможете отведать рождественскую

индейку в кругу семьи.

Я предупредил маму, и она конечно же простила меня. Кто лучше нее мог понять все трудности интернатуры? Тем более если ваш начальник — высокомерный и самовлюбленный тип. Как всегда, мама нашла слова, чтобы успокоить меня.

— Помнишь, что ты сказал мне однажды, когда я расстроилась, что не смогу быть на вручении наград в школе?

— Что в будущем году тоже будет вручение, — ответил я в трубку.

— И Рождество тоже, без сомнения, будет, милый, а если твой начальник опять тебя не отпустит, не переживай, мы отпразднуем Рождество в январе.

За несколько дней до праздников Люк начал собирать чемодан и почему-то положил туда больше вещей, чем обычно. Стоило мне отвернуться, как он поспешно укладывал свитера, рубашки и брюки, в том числе и те, что были явно не по сезону. Я в конце концов заметил это, да и вид у него был смущенный.

— Куда ты собрался?

— Домой.

— И тебе нужно столько багажа на несколько дней каникул?

Люк опустил в кресло.

— Чего-то не хватает в моей жизни, — вздохнул он.

— Чего тебе не хватает?

— Моей жизни.

Он скрестил на груди руки, внимательно посмотрел на меня и продолжал:

— Нет мне здесь счастья, старина. Я думал, что, став врачом, вырасту над собой и мои родители смогут мной гордиться. Сын булочника — доктор, прикинь! Только, знаешь, даже стань я когда-нибудь величайшим хирургом, все равно мне никогда не дорасти до моего отца. Папа — он всего лишь печет хлеб, но видел бы ты, как счастливы те, кто приходит в булочную ранним утром. Помнишь стариков и старушек в той гостинице у моря, где я испек оладьи? А он творит это чудо каждый день. Он человек скромный да и скупой на слова, но за него говорят его глаза. Когда я работал с ним у печи, нам случалось молчать всю ночь, но, замешивая вместе тесто, мы были так близки. На него, и только на него, я хочу быть похожим. Это ремесло, которому он хотел меня обучить, — им я хочу заниматься. Я сказал себе, что когда-нибудь у меня, наверно, тоже будут дети, и знаю, что, если стану таким же хорошим булочником, как мой отец, они смогут мной гордиться, как я горжусь им. Не обижайся на меня, но после Рождества я не вернусь и с медициной завязываю. Подожди, не говори ничего, я еще не закончил. Я знаю, что ты тут приложил руку, что ты говорил с моим отцом. Это не он мне сказал, это мама раскололась. Каждый день, что я прожил здесь, даже когда ты меня всерьез доставал, я мысленно говорил тебе спасибо за то, что ты дал мне этот шанс поучиться; благодаря тебе я знаю теперь, чем не хочу заниматься. Когда ты приедешь домой, я испеку для тебя шоколадные булочки и кофейные эклеры, и мы разделим их по-братски, как в старые добрые времена. Нет, лучше мы их отведаем, как во времена будущие. Так что не думай, что я говорю тебе «прощай», это всего лишь «до свидания», старина.

Люк крепко обнял меня. Мне показалось, что он плачет, да и я, кажется, тоже пустил слезу. Это идиотизм, когда двое мужчин, обнявшись, разводят сырость. А может быть, и нет, если они друзья и любят друг друга, как братья.

Перед отъездом Люк сделал мне еще одно признание. Я помог ему загрузить вещи в старый «универсал», он сел за руль и, уже захлопнув дверцу, опустил стекло, чтобы сказать мне торжественным тоном:

— Знаешь, мне не хотелось об этом спрашивать, но теперь, когда у вас с Софи все ясно, я хочу сказать, теперь, когда она точно знает, что вы только друзья, ты не обидишься, если я буду звонить ей время от времени? Ты, может быть, не заметил, но в тот пресловутый уик-энд у моря, когда ты играл в смотрителя маяка и запускал воздушного змея, мы с ней много говорили. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, между нами проскочила искра... Понимаешь, что я хочу сказать? Так что, если ты не против, я приеду

как-нибудь тебя навестить и заодно приглашу ее поужинать.

— Из всех девушек на свете тебе надо было запасть именно на Софи?

— Я же сказал: если ты не против. Что я еще могу сделать?

Машина тронулась, и Люк помахал мне рукой через стекло на прощание.

10

Поглощенный работой, я не замечал, как пролетали месяцы. По средам мы с Софи проводили вечер вместе за дружеским ужином, иногда ходили в кино, где в темноте зала соединялись наши одиночества. Люк писал ей каждую неделю. Короткое письмецо он успевал настроичить, пока его отец дремал на табурете, прислонясь к стене булочной. Каждый раз Софи передавала мне от него приветы; Люк извинялся, что писать мне времени нет. Думаю, так он на свой манер держал меня в курсе своей переписки с Софи.

В квартирке было теперь спокойно, даже, по-моему, слишком. Порой я окидывал взглядом эту комнату, где мы провели столько вечеров втроем, косился на дверь кухни в надежде, что оттуда появится Люк с блюдом макарон или своей знаменитой запеканкой. Я дал ему обещание и старался его сдерживать. По вторникам и субботам я поднимался навестить нашу соседку и проводил с ней час. За эти месяцы я узнал о ее жизни больше, чем ее собственные дети, — так говорила она. Была от этих визитов и польза: Алиса, не желавшая принимать лекарства, уступала авторитету врача.

Однажды в понедельник вечером, к моему немалому удивлению, исполнилось одно из моих желаний. Я поднимался домой и почувствовал на лестнице знакомые запахи. Открыв дверь, я увидел Люка в переднике и три прибора на полу.

— Ну да, я забыл вернуть тебе ключ! Не ждать же на лестнице! Я приготовил твое любимое блюдо, запеканку из макарон, пальчики облизнешь. Как видишь, здесь три тарелки, я позволил себе пригласить Софи. Если можешь, присмотри за стряпней, мне надо принять душ, она придет через полчаса, а я даже не успел переодеться.

— Во-первых, здравствуй, — ответил я.

— Только не открывай духовку! Полагаюсь на тебя, я на пять минут. Ты одолжишь мне рубашку? Вот, — он порывшись в шкафу, — голубая подойдет. Если ты помнишь, булочная закрыта по вторникам, вот я этим и воспользовался. Поспал в поезде и теперь свеж, как огурчик. Все-таки чертовски приятно сюда вернуться.

— А я чертовски рад тебя видеть.

— А, наконец-то, я все ждал, когда ты это скажешь! А брюки, у тебя найдутся для меня какие-нибудь брюки?

Люк скинул мой халат на кровать, надел выбранные брюки и причесался перед зеркалом, пригладив падавшую на лоб прядь.

— Мне надо подстричься, тебе не кажется? Я начал лысеть, представляешь? Наследственность, наверно. У моего отца шикарный аэродром для комаров на макушке, а у меня скоро будет посадочная площадка на лбу. Как ты меня находишь? — спросил он, повернувшись ко мне.

— В ее вкусе, если ты это хочешь знать. Софи найдет тебя очень сексуальным в моей одежде.

— Что за мысли у тебя? Просто мне не часто представляется случай снять передник, так что раз в кои-то веки побыть при параде приятно, вот и все.

Софи позвонила в дверь, и Люк кинулся ее встречать. Его глаза блестели еще ярче, чем в детстве, когда нам удавалось сыграть злую шутку с Маркесом.

На Софи был темно-синий свитер и юбка в клетку до колен. Она купила их в тот же день на распродаже и

спросила нас, как нам нравится ее новый стиль с ноткой ретро.

— Тебе очень идет, — ответил Люк.

Софи, похоже, удовольствовалась его мнением и ушла за ним на кухню, не дожидаясь моей оценки.

За ужином Люк признался, что порой жалеет о некоторых сторонах студенческой жизни, — не о прозекторской, поспешил он добавить, и не о больничных коридорах, и тем паче не об отделении «Скорой помощи», а о таких вечерах, как этот.

После ужина я остался один. На сей раз Люк провел ночь у Софи. Уходя, он обещал, что еще навестит меня до конца весны. Но жизнь распорядилась иначе.

11

Мама написала мне, что приедет в первых числах марта. К ее приезду я заказал столик в ресторане и буквально выгрыз у заведующего отделением день отпуска. В ту среду утром я встречал ее поезд. Пассажиры выходили из вагонов, но моей мамы среди них не было. И вдруг я увидел на перроне Люка. Без багажа, с пустыми руками, он стоял неподвижно и смотрел на меня. Я увидел слезы на его глазах и сразу понял, что мир рухнул и ничего уже не будет как прежде.

Люк медленно приблизился. Мне хотелось, чтобы он никогда не дошел до меня, чтобы не смог произнести слов, которые готовился мне сказать.

Меня окружала толпа пассажиров, спешащих к выходу. Мне хотелось быть одним из них, из тех, для кого земля продолжает вращаться как ни в чем не бывало, тогда как для меня она внезапно остановилась.

Люк сказал: «Твоя мама умерла, старина», — и острый нож вонзился мне в самое нутро. Люк поддержал меня, обнял, а я зашелся от рыданий. У меня вырвался крик на этом перроне вокзала, как сейчас помню, протяжный вопль из далекого детства. Люк сжимал меня все крепче, не давая упасть, и шептал: «Кричи, кричи сколько хочешь, для этого я и здесь, старина».

Я больше не увижу тебя, не услышу твоего голоса, никогда ты не позовешь меня, как звала раньше по утрам, я не вдохну больше амбровый запах, так славно окутывавший тебя. Мне теперь не с кем разделить мои радости и печали, мы больше ничего не сможем рассказать друг другу. Ты больше не поставишь в вазу в гостиной веточки мимозы, которые я приносил тебе в последние дни января, ты больше не наденешь ни соломенную шляпку летом, ни кашемировый палантин, в который ты кутала плечи с первыми осенними холодами. Ты больше не разведешь огонь в камине, когда декабрьский снег укроет твой сад. Ты ушла до прихода весны, ты покинула меня не предупредив, и никогда в жизни мне не было так одиноко, как на этом перроне вокзала, где я узнал, что тебя больше нет.

«Сегодня умерла моя мама» — сто раз я повторял эту фразу и сто раз не мог в это поверить. Пустота, возникшая в день ее ухода, так и осталась со мной.

Там, на перроне, Люк рассказал мне, что произошло. Накануне он предложил моей маме заехать за ней и отвезти к поезду. Он и нашел ее лежащей перед дверью. Люк вызвал «скорую», но было слишком поздно, она умерла еще вечером. Вышла, вероятно, закрыть ставни и упала: остановка сердца. Мама провела свою последнюю ночь на земле в своем саду, открытыми глазами глядя на звезды.

Мы вместе сели в поезд. Люк молча смотрел на меня, а я смотрел на убегающий пейзаж, думая о том, сколько раз моя мама видела его за окном, когда ехала ко мне. Я забыл отменить заказ на столик в ее любимом ресторане.

Она ждала меня в траурном зале. Мама всегда была невероятно предупредительна, служащий похоронного бюро сказал мне, что она обо всем позаботилась. Она ждала меня, лежа в гробу. Бледная, со своей успокаивающей улыбкой на губах, такой материнской, говорившей мне, что все будет хорошо, что она со мной, как когда-то в первый день занятий в школе. Я коснулся губами маминых щек. Последний поцелуй — словно падает занавес, окончательно и бесповоротно, над сценой детства. Я пробыл с ней всю ночь, охраняя ее покой, как раньше столько ночей она охраняла мой сон.

В отрочестве мы все мечтаем в один прекрасный день покинуть родителей, но настает другой день, когда родители покидают нас. И тогда мы мечтаем лишь об одном: снова стать хоть на минутку детьми, жившими под их кровом, обнять их, сказать им, не стыдясь, как мы их любим, прижаться к ним покрепче, чтобы они нас успокоили еще хоть раз.

Я выслушал проповедь священника над могилой моей мамы. Мы не теряем родителей, даже после смерти они продолжают жить в нас. Те, кто дал нам жизнь, кто подарил нам всю свою любовь, чтобы мы их пережили, не могут уйти бесследно.

Священник был прав, но мысль о том, что нет больше места на земле, где бы они дышали, что ты никогда не услышишь их голосов, что ставни дома твоего детства заперты навеки, повергает в такое одиночество, какое непостижимо даже Богу.

Я никогда не переставал думать о маме. Она со мной в каждое мгновение моей жизни. Порой я смотрю фильм с мыслью, что ей бы он понравился, слушаю песню, которую она напевала когда-то, а в иные чудесные дни чувствую долетающий от проходящей мимо женщины амбровый запах, который напоминает о ней. Мне случается иногда даже говорить с ней вполголоса. Священник был прав: веришь ты в Бога или нет, мама не может умереть совсем, ее бессмертие здесь, в сердце ребенка, которого она любила. Я тоже надеюсь однажды обрести частицу вечности в сердце ребенка, которого сам, в свою очередь, воспитаю.

Почти весь городок пришел на похороны, даже Маркес, который, к моему немалому удивлению, красовался в трехцветном шарфе на груди. Этот олух пробился-таки в мэры. Отец Люка закрыл булочную, чтобы присутствовать на похоронах. Пришла даже директриса школы; уоки-токи она давно сдала в утиль, но плакала больше других и называла меня «мой маленький». Была и Софи: Люк позвонил ей, и она выехала первым утренним поездом. Видеть, как они держатся за руки, было для меня огромным утешением, сам не знаю почему. Когда все разошлись, я остался один у могилы.

Я достал из бумажника фотографию, с которой никогда не расставался, — фотографию отца, держащего меня на руках. Я положил ее на мамину могилу, чтобы сегодня в последний раз мы собрались все втроем.

После похорон Люк отвез меня домой на своем стареньком «универсале». Он в конце концов купил эту машину у человека, который давал ему ее напрокат.

— Хочешь, я войду с тобой?

— Нет, спасибо, оставайся с Софи.

— Как мы можем оставить тебя одного в такой вечер?

— Думаю, именно этого мне и хочется. Я не был дома несколько месяцев, и потом, я чувствую, что она еще здесь, в этих стенах. Уверяю тебя, хоть она и спит на кладбище, я проведу эту последнюю ночь с ней.

Люк, еще не решаясь уйти, улыбнулся и сказал:

— А знаешь, в школе мы все были влюблены в твою маму.

— Я этого не знал.

— Она была самой красивой из мам нашего класса, кажется, даже этот осел Маркес к ней неровно дышал.

Верный друг заставил-таки меня улыбнуться. Я вышел из машины, проводил ее взглядом и вошел в дом.

* * *

Я обнаружил, что мама не делала в доме никакого ремонта. Ее медицинская карта лежала на низком столике в гостиной. Я посмотрел ее и, увидев даты на кардиограммах, все понял. Той недели каникул, что она провела якобы с подружкой на Юге, никогда не было; в конце января у нее случился сердечный приступ, и, пока мы с Люком и Софи ездили к морю, она лежала в больнице на обследовании. Она выдумала эту поездку, чтобы я не тревожился. Я учился на врача, надеясь вылечить мою маму от всех недугов, — и даже не знал, что она больна.

Я пошел на кухню, открыл холодильник, нашел ужин, который она приготовила накануне...

Я стоял как дурак перед открытым холодильником и не мог удержать слез. Я не плакал на похоронах, словно она мне запретила, желая, чтобы я владел собой на людях. Но от таких вот мелочей и осознаешь внезапно уход тех, кого любил. Будильник на тумбочке, продолжающий тикать, смятая подушка на разобранной постели, фотография на комод, зубная щетка в стакане, чайник на подоконнике в кухне, носиком к окну, «чтобы смотрел в сад», а на столе остатки яблочного пирога, политого кленовым сиропом.

Мое детство жило здесь, в этом доме, полном воспоминаний — воспоминаний о моей маме и о тех годах, что мы прожили вместе.

* * *

Я вспомнил, что мама говорила мне о найденной коробке. Луна была полная, и я поднялся на чердак.

Она стояла на полу, на самом виду. Под крышкой я нашел письмо, написанное маминной рукой.

«Любовь моя!

В твой последний приезд я слышала, как ты поднимался на чердак. Я догадывалась, что ты сюда еще вернешься, потому и назначила тебе это последнее свидание здесь. Я уверена, что тебе еще случается говорить с тенями. Не думай, я не смеюсь над тобой, просто это напоминает мне о твоём детстве. Когда ты уходил в школу, я шла в твою комнату будто бы навести порядок и, застилая постель, брала в руки подушку, чтобы вдохнуть твой запах. Ты был всего в пятистах метрах от дома, а я по тебе уже скучала. Знаешь, мать очень просто устроена, она всегда думает о своих детях; с первой минуты, когда открываются ваши глазки, вы занимаете все наши мысли. И нет для нас большего счастья. Я тщетно пыталась быть лучшей из матерей — это ты оказался сыном, превзошедшим все мои ожидания. Ты будешь замечательным врачом.

Эта коробка принадлежит тебе. Ее не должно было быть. Прости.

Всегда любящая тебя мама».

Я открыл коробку; внутри лежали письма, которые посылал мне отец, — на каждое Рождество и на каждый день рождения.

Я сидел на полу перед слуховым окном и смотрел на восходящую в темном небе луну. Прижимая к груди письма отца, я шептал: «Мама, мама, как ты могла?»

И тут на полу вытянулась моя тень, и мне привиделась рядом с ней другая, мамина, она улыбалась мне и плакала одновременно. Луна продолжила свое движение, и мамина тень исчезла.

12

Мне не спалось. В комнате было тихо, ни малейшего шороха за стеной. Звуки, к которым я привык, исчезли, складки занавесок печально застыли в неподвижности. Я посмотрел на часы. В три часа ночи у Люка перерыв, а мне хотелось его увидеть. С этой мыслью я закрыл за собой дверь дома, даже не подозревая, куда приведут меня ноги.

Я свернул в проулок, невидимый в ночных потемках. Мой лучший друг, сидя на стуле, оживленно беседовал со своим отцом. Я не стал им мешать, развернулся и пошел дальше. Сам не зная, куда иду, я дошагал до школьной ограды. Ворота оказались приоткрыты, я толкнул створку и вошел. Школьный двор был тих и пуст, — по крайней мере, так мне показалось. Но, подойдя к каштану, я услышал голос, окликнувший меня.

— Я был уверен, что найду тебя здесь.

Я вздрогнул и обернулся. На скамейке сидел Ив и смотрел на меня.

— Иди сюда, сядь со мной. Столько времени прошло, нам наверняка есть что сказать друг другу.

Я сел рядом с ним и спросил, что он здесь делает.

— Я был на похоронах твоей матери. Соболезную тебе, она была замечательная женщина. Я немного опоздал и шел в конце процессии.

Я был искренне тронут тем, что Ив приехал на мамины похороны.

— А зачем ты пришел сюда, на школьный двор? — спросил он меня.

— Сам не знаю, я пережил трудный день.

— Я знал, что ты придешь. Не только похороны матери привели тебя сюда — мне хотелось с тобой повидаться. У тебя все тот же взгляд; в этом я тоже был уверен, но все-таки хотел удостовериться.

— Почему?

— Потому что, думается мне, мы с тобой оба ищем воспоминания, спешим найти, пока они не исчезли бесследно.

— Как вы теперь живете?

— Я, как и ты, перебрался под другие небеса, выстроил новую жизнь. Но школьником-то был ты, скажи лучше, что ты делал, после того как покинул эти стены и этот городок?

— Я врач, ну, то есть... почти. Я даже не смог распознать, что моя мать больна. Я думал, что вижу вещи, невидимые глазам других, а оказался еще более слеп, чем они.

— Помнишь, что я обещал тебе однажды? Если у тебя что-то на сердце, о чем не хватает духу рассказать, ты можешь довериться мне, я тебя не выдам. Мне кажется, нынче самое время...

— Вчера я похоронил маму, она ничего не сказала мне о своей болезни, а вечером я нашел на чердаке нашего дома письма отца, которые она от меня прятала. Вот так, начинаешь с маленькой лжи, а потом не остановиться.

— Что же писал тебе отец? Или это нескромный вопрос?

— Что он приезжал каждый год, чтобы увидеть меня, на вручение наград в школе. Стоял поодаль, за оградой. Так близко и в то же время так далеко.

— И больше ничего?

— Нет, еще он признался, что в конце концов отступился. Та женщина, ради которой он бросил мою маму, тоже родила ему сына. У меня есть единокровный брат. По словам отца, он похож на меня. На сей раз у меня появилась настоящая тень — забавно, правда?

— Что же ты думаешь делать?

— Не знаю. В последнем письме отец пишет мне о своем малодушии, о том, что, желая подарить будущее своей новой семье, он так и не решился навязать ей свое прошлое. Теперь я знаю, куда девалась вся эта любовь.

— Когда ты был маленьким, непохожим на других тебя делала твоя способность чувствовать несчастье, не только твое собственное, но и чужое. Ты просто стал взрослым. — Ив улыбнулся мне и без перехода задал странный вопрос: — Если бы мальчик, которым ты был, встретил мужчину, которым ты стал, как ты думаешь, они бы поладили, смогли бы подружиться?

— Кто вы все-таки такой? — спросил я его.

— Я человек, не желавший взрослеть, школьный сторож, которому ты вернул свободу, или тень, которую ты сам придумал, когда тебе нужен был друг, — выбирай. Но я перед тобой в долгу, и, думаю, нынче ночью самое время расквитаться. Кстати о подходящих моментах... Помнишь, что я сказал тебе однажды насчет встречи двоих? Ты, кажется, переживал тогда свое первое разочарование.

— Да, помню, в тот день я тоже был не очень счастлив.

— Знаешь, подходящий момент — это и к встрече после разлуки относится. Пойди-ка поищи за моей сторожкой. Я там кое-что для тебя оставил, это принадлежит тебе. Ну, иди же! Я подожду тебя здесь.

Я встал и пошел за деревянный домик, но, сколько ни смотрел вокруг, ничего особенного не нашел.

— Ищи лучше! — услышал я голос Ива.

Я присел на корточки, луна светила ярко, и было видно почти как днем, но все равно — ничего. Подул ветер, взметнул пыль, и она запорошила мне лицо. Зажмурившись, я стал шарить в поисках носового платка, чтобы вытереть глаза и хоть мало-мальски обрести зрение. В кармане пиджака, того, в котором я ходил на концерт, нашелся листок бумаги — автограф виолончелистки.

Я вернулся к скамейке, но Ива там не было, двор снова опустел. На том месте, где он сидел, теперь лежал прижатый камешком конверт. Я вскрыл его — внутри оказалась ксерокопия на очень хорошей бумаге, немного пожелтевшей от времени.

Один на скамейке, я перечитал письмо. Возможно, строки, в которых мама написала мне о своем самом заветном желании — чтобы я вырос настоящим человеком, нашел профессию по душе и был счастлив, и добавила, что, каков бы ни был мой выбор в жизни, если я люблю и любим, значит, сбылись все надежды, которые она на меня возлагала, — да, возможно, именно эти строки и меня освободили от цепей, которыми я был прикован к детству.

13

Наутро я запер ставни и зашел к Люку попрощаться. В старенькой маминной машине я ехал весь день и под вечер добрался до маленького курортного городка. Я припарковал машину у дамбы, перешагнул через цепь, огораживающую старый маяк, поднялся под купол и нашел воздушного змея на прежнем месте.

Хозяйка семейного пансиона встретила меня с видом еще более сокрушенным, чем в прошлый раз.

— У меня по-прежнему нет свободной комнаты, — со вздохом сказала она.

— Это не важно, я приехал только навестить одного из ваших постояльцев, и я знаю, где его найти.

Мадам Пушар, сидевшая в своем кресле, поднялась мне навстречу.

— Вот уж не думала, что вы сдержите обещание. Какой приятный сюрприз!

Я признался, что приехал не совсем к ней. Она опустила глаза, увидела сумку в моей руке и покосилась на воздушного змея, которого я держал в другой.

— Вам повезло, — улыбнулась она, — не скажу, что он вполне в своем уме, но сегодня у него хороший день. Он у себя в комнате, пойдете, я вас отведу.

Мы вместе поднялись по лестнице, она постучала в дверь, и мы вошли в комнату бывшего продавца с пляжа. Он читал.

— К вам гости, Леон, — сказала мадам Пушар.

— Да? Я никого не жду, — ответил старик, положив книгу на тумбочку.

Я подошел и показал ему своего орла в плачевном состоянии.

Он смотрел на него довольно долго, и вдруг лицо его озарилось улыбкой.

— Надо же, когда-то я подарил точно такого же одному мальчугану, чья мать была до того прижимистой, что не сделала ему подарка на день рождения. Каждый вечер мальчишка приносил его мне, а утром забирал, чтобы она не узнала.

— Я вам солгал, моя мать была щедрейшей из женщин, она подарила бы мне всех воздушных змеев на

свете, стоило мне только попросить.

— На самом деле я думаю, он наплел мне небылиц, — продолжал старик, не слушая меня. — Но у мальчонки был такой несчастный вид, что я не мог удержаться и подарил ему змея. Да, много я повидал ребятшек, у которых глаза загорались перед моим прилавком.

— Вы могли бы его починить? — с замиранием сердца спросил я.

— Надо бы его починить, — сказал он, словно и не слышал моих слов. — В таком состоянии он не полетит.

— Именно об этом молодой человек вас и просит, Леон. Вы бы все-таки слушали, что вам говорят, нельзя же так.

— Мадам Пушар, чем поучать меня, пошли бы купили все необходимое для починки змея, и я бы взялся за дело, коль скоро ради этого молодой человек пришел ко мне.

Леон написал на бумажке все, что могло ему понадобиться. Я взял список и помчался в скобяную лавку. Мадам Пушар проводила меня до дверей и шепнула, что, если я случайно загляну по дороге в табачный киоск, она будет счастливейшей из женщин.

Я вернулся через час, выполнив оба поручения.

Старый продавец назначил мне встречу на завтра в полдень на пляже; он ничего не обещал, но сказал, что постарается.

Я пригласил мадам Пушар поужинать. Мы говорили о Клеа, и я ей все рассказал. Когда я провожал ее в пансион, она подсказала мне одну идею.

Я снял комнату в маленьком отеле в центре городка. И уснул, едва коснувшись головой подушки.

* * *

Ровно в полдень я стоял на берегу. Старый продавец пришел без опоздания вместе с мадам Пушар. Он развернул воздушного змея и с гордостью протянул его мне. Крылья были починены, каркас склеен, и мой орел, хоть и подраненный, снова выглядел вольной птицей.

— Можешь запустить его на пробу, только осторожней, он все-таки не новенький.

Две маленькие змейки и одна большая восьмерка. С первым же порывом ветра змей взлетел. Шпагат разматывался с бешеной скоростью, и Леон аплодировал что было сил. Мадам Пушар взяла его под руку и опустила голову ему на плечо. Он густо покраснел, она извинилась, но позу не поменяла.

— Мало ли что вдовы, — сказала она, — всем хочется немножко нежности.

Я поблагодарил их обоих и простился здесь же, на пляже. Мне предстоял долгий путь, и не терпелось вернуться в Париж.

* * *

Я позвонил заведующему отделением и сказал, что похороны матери задерживают меня дольше, чем я ожидал: я буду готов приступить к работе через два дня.

Да, знаю, начинаешь с маленькой лжи, а потом не остановиться, ну и ладно, у каждого свои причины, и у меня на сей раз имелись свои, очень веские.

В консерваторию я пришел в конце дня. Сторож сразу узнал меня. Горло его прошло, сообщил он мне и впустил в свою каморку. Я попросил его еще раз мне помочь.

На этот раз мне надо было узнать, где и когда в ближайшее время будет играть Клеа Норман.

— Представления не имею. Впрочем, если вы хотите ее увидеть, она в сто пятой аудитории, на первом этаже, в конце коридора. Вам придется немного подождать, она сейчас дает урок, он закончится в четыре.

Я не был подходящим образом одет. Не причесан, плохо выбрит — в общем, у меня нашлась тысяча отговорок. Я был еще не готов. Но перед желанием увидеть ее не устоял.

Дверь аудитории была застеклена, и я постоял немного, глядя на Клеа из коридора, — она давала урок маленьким детям. Я оперся рукой о стекло, один из учеников повернул голову ко мне и перестал играть. Я присел и удалился на четвереньках, как последний дурак.

Клеа я подождал на улице. Выйдя из консерватории, она завязала волосы в узел и пошла с портфелем в руке к остановке автобуса. Я последовал за ней, как следуют за своей тенью, когда солнце светит сзади. Но в этот день моим единственным светом была Клеа, и она шла в нескольких шагах впереди.

Поднявшись следом за ней в автобус, я сел в первом ряду и повернул голову к окну. Клеа устроилась на заднем сиденье. На каждой остановке мне казалось, что сердце у меня сейчас перестанет биться. Через шесть остановок Клеа вышла.

Она зашагала вверх по улице, ни разу не оглянувшись, и толкнула дверь небольшого дома. Через пару минут на четвертом, последнем, этаже зажглись два окна. Я видел ее силуэт, снующий из кухни в гостиную; окно спальни, должно быть, выходило во двор.

Я долго ждал на скамейке, ни на минуту не сводя глаз с этих окон. В шесть часов в дом вошла пара и осветились окна третьего этажа, в семь появился старичок, живший на втором. В десять окна Клеа погасли. Я посидел еще немного и ушел с радостным сердцем: Клеа жила одна.

Я вернулся с рассветом. Дул свежий утренний ветерок. Я принес с собой моего воздушного змея. Расправил крылья, ветер тотчас надул их, и орел взлетел. Редкие прохожие останавливались, смотрели с любопытством и шли дальше своей дорогой. Подлатанная птица взмыла вдоль фасада и принялась выписывать пируэты у окон четвертого этажа.

Готовя себе чай в кухне, Клеа заметила моего орла. Она не поверила своим глазам, и чашка, выпав из ее рук, разбилась о плиточный пол.

Через пару минут дверь дома распахнулась и вышла Клеа; глаза ее были устремлены на меня. Она улыбнулась мне и положила руку на мою ладонь — нет, не взяла меня за руку, а завладела катушкой воздушного змея.

В небе большого города бумажный орел описывал большие змейки и идеальные восьмерки. Клеа по-прежнему не потеряла дара к воздушной поэзии. Я наконец понял, что она пишет, и прочел: «Я по тебе скучала».

Девушка, сумевшая написать вам «Я по тебе скучала» воздушным змеем в небе, — такое не забудется.

Всходило солнце. На тротуаре вытянулись рядышком наши тени. Вдруг я увидел, как моя нагнулась и поцеловала тень Клеа.

И тогда, преодолев робость, я снял очки и последовал ее примеру — а что мне еще оставалось делать?

В то утро далеко у моря вдруг ожил фонарь маленького заброшенного маяка, а мне об этом рассказала тень воспоминания.

Автор благодарит

Полину.

Луи.

Эмманюэль Ардуэн.

Раймона, Даниэль и Лоррен Леви.

Николь Латтес, Леонелло Брандолини, Антуана

Каро, Элизабет Вильнев, Анн-Мари Ланфан, Арье Сберро, Сильви Бардо, Тину Жербер, Лиди Леруа, Жоэля Ренода и всех сотрудников издательства «Робер Лаффон».

Полину Норман, Натали Лепаж.

Леонара Антони, Ромена Рюэтша, Даниэль

Мелконян, Катрин Одапп, Марка Кесслера, Лору

Мамелок, Лорен Венделькен, Керри Гленкорс,

Моину Масае.

Брижит и Сару Форисье.